# Взрыв

# Сергей Снегов

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Девушка задумалась над сводкой. Сводка была неважная — шахта не выполняла плана. Это продолжалось уже много дней, прорыв напластывался на прорыв, девушка не была тут виновата, помочь тоже не могла — она все же огорчалась, словно все это было ее виною и только от нее ждали помощи. Сосед, молодой, но уже лысый бухгалтер, обратился к ней. Она не услышала. Он покачал головой и усмехнулся: он уже привык к тому, что эта девушка, новый экономист-нормировщик шахты, терзает себя из-за пустяков. Сам он огорчался только по важным поводам — на каждый день хватало своих забот и мук: то перерасходовали месячный фонд по зарплате и банк тормозил финансирование, то отчет запаздывал на несколько суток, что грозило потерей премии, то баланс упрямо не сходился, и какую-нибудь треклятую копейку приходилось искать по всем проводкам. Бухгалтер был человек отзывчивый, он не удержался от добродушного совета:

— Бросьте, Маша, горевать над чужим горем — показатели не станут лучше, если даже вы заплачете над ними.

Она со вздохом ответила:

— Я понимаю, Николай Архипыч, но только очень они плохие, показатели этого месяца.

Бухгалтер пожал плечами — месяц был как месяц: за пять лет, проведенных на шахте, он видал и похуже времена. Конечно, крику будет на весь город, но когда же не кричат об их злосчастной седьмой шахте? Дай они завтра в два раза больше — этого тоже не хватит. Он повернулся к своим сотрудникам — второму бухгалтеру и счетоводам. В низенькой тесной комнатушке было шумно и душно: на площади в двадцать квадратных метров стояло три шкафа и пять столов. Особое тихое гудение проносилось над столами, специфический шум счетной работы, так же неотделимый от хорошо поставленной бухгалтерии, как грохот пневматических молотов неотделим от котельного цеха, — шум этот складывался из шелеста переворачиваемых листов, скрипа перьев, стука костяшек, приглушенных вопросов и ответов и бормотания про себя. Бухгалтерия работала напряженно, уже пятый день никто не уходил раньше десяти вечера, шла страда — месячный отчет.

Внезапно шум затих, все работавшие за столами оторвались от бумаг — в комнате появился новый человек. Это был рослый парень, на вид лет двадцати трех — двадцати четырех; лишь присмотревшись, можно было, пожалуй, дать ему и все двадцать восемь. Он был красив — серые настороженные глаза резко выделялись на худом, энергично очерченном лице, из-под заломленной на макушку кепки выбивались спутанные светлые волосы. На парне были новые хромовые сапоги, брюки военного коверкота тщательно разработанным напуском спускались на голенища, на плечи была наброшена, словно плащ, черная телогрейка. Это был Камушкин, начальник самого крупного участка шахты.

Он был не один, из-за его спины выглядывали два смеющихся парня. Одетые, как и он, в телогрейки, со сдвинутыми на макушку кепками, они шли за ним, словно телохранители.

— Как успехи, дорогие товарищи? — громко проговорил Камушкин. — Как сходится сальдо с бульдой? Самоотверженно выдавливаете рубль премии из копейки сокращения затрат? Или вцепились в пятирублевый перерасход и треплете его в тридцати трех отчетах?

Ребята, стоявшие за спиной Камушкина, громко захохотали. Бухгалтер поморщился — он предвидел неприятный разговор.

— Невозможный ты человек, Павел Николаевич! — сказал он сердито. — Каждого, кто на поверхности, стараешься обидеть, словно люди только те, что у тебя в штольне. Работаем, как другие, чего тут выискивать? А ты ищешь!

— Это потому, что искатель я, — подтвердил Камушкин. Он уселся около стола бухгалтера и удобно закинул ногу на ногу; парни молчаливо стали по бокам его стула. — Ищу вчерашний день с солнечным остатком — в отчетах обозначен, а в натуре не обнаружу. Ты не бледней, Комосов, сегодня дело не такое страшное — покажи-ка мне ведомость на зарплату по моему участку. В тот месяц ты моих ребят, особенно Сергея с Петей, — он кивнул головой на спутников, — крепко обидел, а я слишком поздно спохватился. Так как занятие это — после драки кулаками махать — малоэффективное, я решил в этом месяце заранее все разведать.

Бухгалтер встал и перегнулся к соседнему столу.

— Я бы мог отказать тебе, — заметил он, роясь в папках. — Просто ради мира — терпеть не могу твои всегдашние скандалы...

Пока он отыскивал ведомость, Камушкин повернулся к Маше. Он глядел на нее тем же насмешливым и любопытствующим взглядом, каким только что всматривался в раздраженного Комосова. Он неторопливо изучал ее лицо, волосы, кофточку, брошку на кофточке, словно не замечая, как неприятно ей это бесцеремонное разглядывание. Маша отвернулась, постаралась скрыть раздражение. Она догадывалась, что не только к Комосову пришел этот красивый, самоуверенный и грубый человек.

Камушкин перелистывал широкую, как простыня, ведомость, оба парня жадно вглядывались в нее через его плечо. Найдя нужную строку, Камушкин удовлетворенно постучал по ней пальцем.

— Все? — неприязненно поинтересовался бухгалтер, протягивая руку за ведомостью. — На этот раз стекла бить не будешь?

— Ладно, ребята, топайте! — скомандовал Камушкин своим спутникам. — Главные наши претензии вроде учтены. — Он насмешливо улыбнулся. — Радуйся, Комосов, грозу пронесло. Теперь второе дельце — уже не к тебе.

Он пододвинул стул к Машиному столу. Парни удалились довольные. Камушкин сказал, положив руку на стол:

— Я на прошлой планерке обещал вам прийти ругаться. Сегодня выбрал часок. Не оправдываете наши шахтерские надежды, милая девушка.

— Меня зовут Скворцова, товарищ Камушкин, — холодно поправила Маша. — Не понимаю, о каких надеждах идет речь. Вы имеете в виду технические нормы?

— Именно, — подтвердил Камушкин. — Предшественник ваш, пусть земля ему будет комом, много дров наломал. Не один хороший шахтер по его милости жил на авансах, а в получку почти что в пустой ведомости расписывался. Кое-кто из молодых ребят по серости уже собирался поговорить с ним при случае без особой дипломатии. — Камушкин значительно показал кулак. — А такого производственного совещания, где бы его не разносили, я что-то и не припомню, Комосов тоже может подтвердить. — Камушкин полуобернулся к бухгалтеру; тот, не поднимая над столом лица, молча мотнул головой. — Вот уж не ожидали, что и вы по этой скверной дорожке пойдете.

Разговор более волновал Машу, чем она старалась показать. Здесь была загадка, она сама пыталась разгадать ее и не сумела — у нее не хватало ни опыта, ни знаний. Новые общесоюзные нормы выработки, недавно введенные на их шахте, соответствовали инструкциям, справочникам и ученым статьям, они опирались на солидные исследования и расчеты. А шахтерам они были не под силу, только немногие перевыполняли их. Рабочие ругали нормировщиков, обвиняя их в преднамеренном завышении норм. Маша чувствовала, что они совершают просчет, нельзя механически распространять общие положения на специфические условия Заполярья. Но изменить эти положения она не могла, такое изменение требовало строгого и точного обоснования, это дело было ей не по плечу.

Говорить обо всем этом Камушкину она не хотела. Как и многие администраторы, он стремился только к тому, чтобы рабочие его больше зарабатывали, а план спускали полегче. Скажи ему, что трудно выполнить норму, он всюду растрезвонит, что нормы берутся с потолка. Маша разостлала перед ним расчеты, доставшиеся ей от предшественника.

— Вот смотрите, товарищ Камушкин. Это — физикомеханические характеристики пород, ну, понимаете, их крепость, сопротивление на излом и разрыв, здесь — хронометражные данные, а вот это — сводки по другим шахтам Союза. Те же самые горные породы в других местах лучше разрабатываются, чем у нас, это главная странность. И еще одно: наш уголь — один из самых дорогих в стране. А если еще снизить нормы, как вы требуете, ведь он же золотым станет, уголь из нашей шахты!

Камушкин глядел не на бумаги, а на лицо Маши, он хмурился. Маша чувствовала, что он и не старается разобраться в существе ее объяснений, он их отвергал заранее. Она стала путаться и повторяться. Камушкин вдруг хлопнул рукой по бумагам и отодвинул их.

— Ладно, хватит! Не в коня корм — терпеть не могу карандашных расчетов. За столом оно получается, а вот с кайлом в- руках — не очень. Жаль, уголек в кабинете не добывается, а то бы весь Союз завтра же завалили. Вы, кстати, сами не думаете в шахту спуститься? Тот, что до вас сидел, штольни не уважал, ребята рассказывали — увидел как-то, что на него электровоз движется, и без памяти драпанул в темный ходок, чуть голову себе не разнес.

— Когда понадобится, и в шахту пойду, никого не спрошусь, — зло пообещала Маша, собирая бумаги.

— Спроситься придется, — спокойно возразил Камушкин. — Без разрешения в шахту теперь не пускают.

В коридоре прозвонили на обеденный перерыв. Маша первая встала и пошла к выходу. Камушкин, не поднимаясь, смотрел ей вслед. Она ощущала спиной его жесткие глаза, они подталкивали ее. Маша не удержалась и обернулась в дверях. Камушкин улыбался, он был доволен собой — казалось, он даже гордится тем, что сумел ее рассердить.

Когда все вышли, Камушкин снова подсел к столу бухгалтера. Комосов раскладывал на газете свой завтрак — хлеб, крутые яйца, сыр. Один из сотрудников просунул ему в дверь кружку кипятку. Комосов бросил в кружку заварку чая и сахар и пригласил Камушкину позавтракать; тот отказался.

— Просто поражаюсь, — сказал Комосов с осуждением. — На шахте ты числишься хорошим работником, и шахтеры тебя любят, ничего не скажу. А в жизни — чем от тебя дальше, тем лучше. Вот, например, твой язык — блатной жаргон, ничего больше.

— Вырвать с корнем такой язык, — насмешливо подсказал Камушкин. С делами было кончено, но он не спешил уходить. Он с удовольствием слушал нападки бухгалтера.

— С корнем не с корнем, а каленым железом по такому языку надо. «Сальдо с бульдой», «драпанешь» — к чему это?

— Чтоб боялись, — хладнокровно пояснил Камушкин. — Если я тебя вежливенько Уксус Помидорычем или Сидор Карпычем, ты меня всегда переговоришь.

— Глупо, по-моему. Может, ты что-нибудь и выигрываешь такой грубостью, но уважение этим не заслужишь. Теперь второе. Зачем ты обидел Скворцову? С прогульщиками да бездельниками, и то так по-хамски не разговаривают. А Скворцова — инженер-экономист, милая, скромная девушка, никому дурного слова не скажет. Каково ей терпеть твои выходки?

Камушкин неожиданно разозлился.

— А что же мне, по-твоему, расшаркиваться перед ней — ах, извините, ах, разрешите, ах, позвольте, ах, удивительная! Не знаю, как тебе, а мне нож в горло подобные сцены, что вот сейчас разыгралась. На шахте недовольство, меня рабочие со всех сторон тормошат, а она расчетики сует. Ничего, я ее на место поставил, даже не взглянул на формулки. И впредь будет так, запомни это! Вы тут с ней галантерейность развели, чуть ли не на цыпочках около нее ходите, вроде Синева, — у нее, конечно, голова кружится от такого внимания. А со мной эти штуки не пройдут, я не Синев и не ты.

Комосов, убрав остатки завтрака, пододвинул к себе счеты и сводный лист баланса. Он вытащил из ящичка папиросы и стал искать по карманам спички. Наступали любимые минуты молодого бухгалтера, посторонние мешали этому тонкому наслаждению — послеобеденной папироске в пустой комнате и простенькому подсчету, проверке небольшого, заранее подбитого итога: работа для рук, а не для головы. Комосов неприязненно покосился на Камушкина — скоро ли тот уберется? — но не удержался и пробормотал:

— Хвастунишка ты все ж, Павел. Ничего не можешь высказать без преувеличений, спокойно и просто.

Камушкин немедленно отозвался с насмешкой:

Спокойно и просто

Мы бросились с моста,

И баржа с дровами

Была между нами.

Потом лицо его стало решительным и злым.

— Нет, без драки не обойтись! — сказал он. — Или я вытащу ее в шахту, или крепко поссоримся — с докладными записками и прочей официальщиной. Думаю, будет нелегко, она вовсе не беззащитная, как ты рисуешь. Как она на меня сверкнула глазами — будто шофер фарами!

Комосов нетерпеливо отмахнулся.

— Не до глаз ее — отчет же... Дай лучше огня — прикурить.

2

Маша старалась не думать о Камушкине, но он не выходил у нее из головы, она видела его недоброжелательное лицо, слышала его неторопливый голос. Она вспоминала первые столкновения с этим человеком, они не были так обнаженно враждебны — просто реплики во время заседаний, два-три язвительных слова. «Теперь он от меня не отстанет! — с досадой думала Маша. — Каждый день будет надоедать».

— Как ваша сводка, Маша? — спросил Комосов, зевая. — Скоро главный пришлет за ней.

Маша ответила, не отрываясь от бумаг:

— Плохо, плохо... Честное слово, ничего не понимаю в положении на шахте.

Комосов любил разговаривать во время работы, легкая, ни к чему не обязывающая беседа подсчетам не мешала. Он начал издалека. Конечно, на первый взгляд все кажется архизапутанным, а в сущности, если сказать начистоту, нет ничего более простого и ясного. Шахта у них особого рода, ее нельзя сравнивать с другими. На горнометаллургическом комбинате пять действующих шахт, но только седьмая — их шахта — выдает коксующийся уголь, остальные добывают топливо для электростанций и котельных, коксующиеся угли там — дело случайное и неверное. А отсюда вывод — малейшая неполадка на седьмой немедленно отзывается на работе заводов. Это прямая цепочка: седьмая штольня — плавильные печи. Другим шахтам легко — ремонты идут нормально, можно заделы подтянуть, там начальство в выходные дни по домам сидит. А у них вечная суетня, они дают максимальную выработку, им кричат «Прорыв!». Вдобавок еще эти неприятности с хлынувшим из недр рудничным газом. В план и нормы все эти факторы не укладываются, а в душах человеческих они живут.

Маша слушала его невнимательно. Как раз в эту минуту она закончила обработку материала. Пораженная, Маша всматривалась в свои цифры, ей показалось, что наконец она нашла разгадку. Нет, верно, никаких оправданий для срыва программы быть не может, все хитросплетения Камушкина и таких, как он, рухнули, дело вовсе не в завышенных нормах. Вот она, разбивка по группам: одни рабочие плохо работают, другие — хорошо, одни стараются, другие — нет. А если бы все трудились, как ударник Ржавый, лучший рабочий шахты, можно было бы дать в два раза больше продукции.

Маша поделилась своими мыслями с Комосовым. Тот рассмеялся.

— Горячая вы, Маша, — объяснил свой смех бухгалтер. — И в человеке одну цифру видите — плановое задание. Это от неопытности. А рабочий наш и больше и меньше спущенной ему нормы — как когда. Камушкин, между прочим, тоже этого не понимает.

Объяснение это показалось Маше неубедительным. Комосов, выходя за границы бухгалтерских расчетов, временами пускался в туманные разглагольствования, словно компенсировал этим необходимость быть точным в своем прямом деле. Особенно любил он искать во всем психологическую подоплеку, психология в его объяснении также представлялась странной — сплошная путаница чувств и противоречий. Если прислушаться к нему, так люди не столько работают, сколько копаются в своих переживаниях, а практически на переживания просто не остается времени — нужно трудиться, действовать руками, мыслить.

Зазвонил телефон. Комосов снял трубку и кивнул Маше.

— Вас к Владиславу Ивановичу. — Он усмехнулся вслед заторопившейся к выходу Маше: ну, теперь начнется шум по поводу ее открытия, что шахтеры бывают плохие и хорошие.

Маша со сводкой в руке открыла дверь кабинета главного инженера, крикнула: «Можно?» В ответ послышалось неясное ворчание; она не расслышала, но не стала переспрашивать и вошла. Она прикрыла дверь, потом обернулась к хозяину кабинета. Маша волновалась, входя в этот кабинет, раньше — в первые недели работы на шахте — она бледнела, даже посторонние замечали ее состояние. Никто, впрочем, не удивлялся, не она одна с робостью переступала этот порог — главного инженера шахты Владислава Ивановича Мациевича уважали, но не любили и боялись. О нем говорили: «Грозен наш главный», — хотя Мациевич был только вежлив и точен. Он редко ругался, почти не повышал голоса, но в минуты бурных споров его холодный взгляд и строгое лицо действовали сильнее, чем самая несдержанная брань. Он, впрочем, умел быть и язвительным — это все знали. Ему было тридцать четыре года, но он выглядел старше своих лет.

Мациевич сидел в кресле, полуобернувшись к приемнику, стоявшему на столе. Он кивнул головой, не отвечая на приветствие Маши, глаза его были полузакрыты, он слушал музыку. Маша минуту постояла, потом осторожно присела на стул, тихо кашлянула, чтобы напомнить о себе. Мациевич по-прежнему не обращал на нее внимания, он покачивал головой, что-то напевал про себя. Маша невольно стала прислушиваться, она не осмелилась отрывать главного инженера от приемника, хотя время было рабочее. Сначала музыка Маше не понравилась, это было какое-то нестройное и тревожное переплетение звуков, что-то вроде воплей, свиста, плача и грохота. Ближе всего это напоминало, пожалуй, пургу, разразившуюся среди пустынных скал, — мрачная неистовая буря гремела в оркестре. И вдруг все эти дикие звуки стали стихать, сквозь ветер, ревевший в скалах, донеслась тонкая и ясная песня кларнета, она поднялась над бурей, теперь уже ничего не было слышно, кроме этой песни. И снова печальную мелодию кларнета заглушил грохот бури, голос барабанов, труб, скрипок и виолончелей.

Мациевич поворотом регулятора оборвал эти звуки и засветившимися глазами посмотрел на Машу. Он улыбался. Машу смутила эта улыбка, необычная на его замкнутом лице.

— Великолепно, правда? — спросил он, ткнув пальцем в приемник. — Это моя любимая вещь, «Франческа да Римини». Сегодня передается большой концерт из произведений Чайковского.

— Да, очень хорошо, — ответила Маша.

Мациевич протянул руку к сводке. Он изучал ее, хмурясь, сводка ему не нравилась. Потом он задумался, опустив тяжелые веки. Маша с тревогой ждала, что он сейчас спросит, как она расценивает положение на шахте. Это была ее прямая обязанность — находить причины неполадок, за этот анализ она, собственно, и деньги получала. Но анализ этот являлся единственным, чего она не могла сделать. Главный инженер и вправду поинтересовался:

— Ваше мнение, Мария Павловна?

Маша храбро ответила, густо покраснев:

— Не знаю, Владислав Иванович. — Она торопливо добавила, оправдываясь: — Конечно, я должна все проанализировать, но я еще так мало изучила практику горного дела, что боюсь напутать... Мне, например, кажется, что никаких объективных причин для срыва программы нет, — возможно, это от моей плохой осведомленности. Так, во всяком случае, говорят другие. — Она вкратце сообщила о своем споре с Камушкиным.

Мациевич встал и прошелся по ковровой дорожке. Как и все люди, много времени проводящие в кабинетах, он не любил сидеть — он утомлялся от сидения в кресле и, обдумывая что-либо важное и трудное, всегда ходил. Это случалось даже на заседаниях, если в комнате было не очень много народу. Он отозвался не сразу:

— Нет, почему же — плохая осведомленность? Самое главное вы ухватили: нет никаких объективных причин для плохой работы шахты. И то, что мы миримся с подобным положением — наша вина. Не все, конечно, но многие, очень многие идут на поводу разных трусов и — бездельников.

Он замолчал. Маша знала, на что он намекает, это уже не было тайной на шахте, все об этом толковали. Парторг шахты Симак, человек крутой и горячий, не поладил с главным инженером, отзвуки их споров разносились по всему комбинату. Поговаривали даже о том, что одному из них придется уйти, вероятным кандидатом на отчисление с шахты называли Симака: за спиною Мациевича стоял властный Пинегин, этот не церемонился с теми, кто становился поперек дороги хозяйственникам. Только заступничество секретаря горкома Волынского да дипломатия не желавшего ни с кем ссориться директора шахты Озерова поддерживали Симака в начатой им борьбе. Все, однако, понимали, что долго так продолжаться не может, скоро этот затянувшийся конфликт должен был разрешиться.

Мациевич хмуро продолжал, шагая взад и вперед по дорожке:

— Вы это понимаете, хоть плохо знаете шахту. А люди, прекрасно разбирающиеся во всех деталях угледобычи, не хотят понимать элементарно простых вещей. Сейчас вы это сами увидите — нас вызывает Озеров.

Он задержался у двери, пропуская Машу вперед. Он был предупредителен со всеми сотрудниками управления, не позволял даже себе сесть, когда рядом с ним стояла женщина. Эта подчеркнутая вежливость казалась странной и неестественной в суматошливой шахтной жизни, она смущала самих женщин.

3

Озеров, высокий, пожилой, неторопливый человек, сидел у телефона. Маша сразу определила, что их вызвали не на совещание, а для простого разговора, — дверь кабинета была раскрыта, в кабинет свободно входили и выходили работники шахты. На диване полулежал Семенюк — главный энергетик, одновременно замещавший главного механика. Его больное опухшее лицо было бледно, он тяжело дышал. Судя по запачканной спецовке, он только что вылез из шахты. На боковине дивана сидел Камушкин, Маша отвернулась от него. В стороне, у окна, разговаривали два человека — лысый маленький Симак и маркшейдер шахты Синев. Прервав разговор, Синев с живостью поклонился Маше, она улыбнулась ему.

Озеров кивнул Маше, чтобы она подошла поближе.

— Давайте поглядим, — сказал он, надевая очки. — Ну, конечно, декадный план провалили. Вот так у нас и идет: первая декада — плохо, вторая — хуже, потом штурмуем до седьмого пота. Сколько это будет продолжаться?

Симак негромко отозвался:

— До тех пор и будет продолжаться, пока не закончится капитальное переоборудование шахты. Одного вы не хотите понять, дорогие товарищи, — людям страшно работать в ваших забоях.

— В наших забоях, Петр Михайлович.

— В ваших забоях, — настойчиво повторил Симак. — Я не могу принять на себя ответственность за все безобразия, что тут развели, я с самого первого дня твердил и продолжаю твердить: обо всем вы помните — о лесе, о кабелях, о машинах, — только о человеке забываете. А человек остается человеком — он требует, чтобы думали и о нем.

Озеров примирительно проговорил:

— Зачем такие преувеличения? Все, что необходимо для безопасности рабочих, обеспечено. В меру наших сил, конечно. Убрать метан из шахты мы не можем.

Мациевич присел рядом с Семенюком. Он молчал, настороженно следя за порывистым Симаком. Тот продолжал, все более возбуждаясь:

— Весь вопрос — какова мера сил. Что взрывобезопасное оборудование установлено во всех опасных местах — это хорошо. А что не торопятся всю шахту оборудовать подобными механизмами — плохо. Знаю, знаю, что ты скажешь: нет оборудования, заказано, но не пришло, придет — установим. Это не ответ, Гавриил Андреевич, рабочий не понимает такого ответа. Он знает — сегодня это место безопасное, а завтра, может через минуту, здесь хлынет метан, как он хлынул на стовосьмидесятом горизонте. И точка — нет твоей безопасности. Вот о чем думают люди, спускаясь под землю. Неужто такие мысли помогают работать?

Маша с интересом слушала Симака. Она бывала на больших совещаниях, там много говорили о том же самом, но это были иные речи, официальные и осторожные. И там не ссылались на то, что люди боятся, там доказывали, что бояться нечего — все меры приняты. Хлынувший из недр метан составлял самую большую проблему на шахте. Его никто не ждал, геологическая разведка показывала, что метан в толщах вечномерзлых грунтов и горных пород отсутствует, он попадался иногда в пятом угольном пласте, но это было под вечной мерзлотой, в слоях пород, согреваемых глубинным теплом земли; выработки находились много выше этих опасных горизонтов. Пять лет шахта работала в нормальных условиях, она и проектировалась в расчете на эти нормальные условия — ее оборудовали обычными механизмами, не приспособленными к взрывоопасной среде. Первые признаки метана появились четыре месяца назад, а через две недели после этого на самом нижнем — стовосьмидесятом — горизонте из толщи замерзших пород неожиданно хлынули газовые фонтаны. Несчастья не произошло, но добычу угля пришлось прервать на две недели: на нижних горизонтах спешно устанавливали завезенные самолетами взрывобезопасные механизмы, в вентиляторной монтировали второй мощный вентилятор. Были приняты и другие меры: строгий контроль за концентрацией рудничного газа в воздухе, обучение рабочих, изменение методов работы. Только на самых высоких горизонтах, куда метан не прорывался, еще стояли обычные механизмы, не приспособленные для работы во взрывоопасной среде. Именно об этом и говорил Симак — он требовал срочного переоборудования всей шахты. Он сказал с глубоким убеждением:

— Я двадцать три года, с детских лет, толкусь под землей, два раза попадал в обвалы и знаю твердо — важнейшим элементом высокой производительности труда шахтера является его уверенность в собственной безопасности. Погибать никто не хочет, вот и получается — если человек за жизнь боится, работа идет плохо, везде ему ужасы чудятся.

Озеров с досадой возразил:

— Что же, шахту закрывать, пока придут все заказанные механизмы? А кто наши заводы коксом снабдит? Удивляюсь, Петр Михайлович, вместе же на бюро голосовали — начать работы.

Симак немедленно вскинулся:

— Правильно, голосовал. Кокс нужен комбинату, шахту останавливать — не выход. Но за вашу медлительность не голосовал. А вы успокоились: нет оборудования — не надо. Я на твой вопрос отвечаю: дотоле и будет тянуться эта волынка с плохой выработкой, пока вы сами тянете. У нас, в Донбассе, если над шахтой нависнет угроза, мы министров за горло хватаем — немедленно давай все, что требуется. Ничего, ни разу не обижались...

— Разрешите мне, — ледяным тоном сказал Мациевич. Он не глядел на раздраженного, взволнованного Симака. — Уважаемый Петр Михайлович ссылается на свой двадцатитрехлетний шахтерский стаж и особое понимание шахтерской психологии. Я бы не позволил себе касаться этого, если бы товарищ Симак сказал это случайно. Но я уже третий раз слышу об этом удивительном стаже. Лично я считаю за собой девяносто три года подземной работы — сорок два года моего деда, Войцеха Мациевича, сгоревшего при подземном пожаре на одной из шахт Домбровского бассейна, тридцать семь лег — отца, Ивана Войцеховича, шесть раз попадавшего в обвалы, взрывы и пожары, ныне орденоносца и заслуженного пенсионера на Урале. И, наконец, мой собственный стаж — четырнадцать лет. Правда, я не попадал ни в пожары, ни в обвалы — на тех шахтах, где я работал и которыми руководил, подобных безобразий не происходило, чем, кстати, я только горжусь. Думаю, что соображения представителя трех поколений шахтеров также имеют некоторый вес, хоть собственный мой стаж несколько и уступает стажу товарища Симака.

Это было сказано зло и беспощадно. И без того возбужденный Симак стал багровым, он порывался прервать Мациевича. Озеров останавливал его предостерегающим и укоризненным взглядом. Мациевич не торопился, он наносил удар за ударом. Так сражаются только с личным врагом, даже Маша видела это ясно. Маша сочувственно поглядела на Симака, ей было жалко этого живого и, как она знала, отзывчивого человека, которого так безжалостно разносили.

— Теперь о самом важном — о страхах наших шахтеров, — продолжал главный инженер, — Отсутствие страха и вообще хорошее настроение шахтера товарищ Симак склонен считать чуть ли не важнейшей производительной силой. Но оно, это так называемое хорошее настроение, вещь неконтролируемая: у разных людей оно зависит от тысячи разных причин — здоров ли, не поссорился ли с тещей, вкусным ли завтраком накормила жена, любит ли подруга, понравилось ли вчерашнее кино и прочее и тому подобное. Может быть, товарищ Симак научит нас, как учитывать все эти факторы и, главное, как воздействовать на них? То же и о страхах. Мало ли кому что может померещиться! Люди бывают трусливые — эти всего боятся, везде находят повод для нежелания работать. — Мациевич быстро и гневно взглянул на Симака, голос его, однако, не потерял спокойствия. — И еще бывают другие люди — смелые, просто здравые. Мы, руководители, составляем наши производственные программы одинаково для всех людей — трусливых и смелых, глупых и умных. Субъективные различия не могут быть учтены в наших планах. Я ставлю вопрос так: все ли объективные факторы мы использовали для обеспечения безопасности подземных рабочих? И отвечаю на него: да, все. И утверждаю это не как Мациевич, такой же человек, как и другие люди, а со всей ответственностью, как главный инженер шахты, более всех обязанный заботиться о безопасности шахтеров. Все это может- быть подтверждено мнением главного энергетика, руководителей участков, маркшейдера...

Он властно указывал рукой на Семенюка, Синева и Камушкина. Семенюк заворочался на диване и простонал:

— Каждый день про одно, как не надоест! Тысячу раз уже говорили — никаких поводов для опасений, все организовано, что требуется... И откуда только эти глупые слухи? Ну и пусть газ прорвется в верхние горизонты, что из того, Петр Михайлович? Появление метана еще не катастрофа, три четверти шахт Советского Союза работают на газовом режиме. Ты, что ли, этого не знаешь?

Синев, покосившись на Симака, пробормотал что-то невнятное, он, похоже, не хотел вступать в спор. Камушкин засмеялся и стукнул ладонью по дивану.

— За своих ребят я ручаюсь, — объявил он уверенно. — Одного боятся — как бы бухгалтера не ужали при расчете, тут приходится крутые меры принимать. Нормы выработки тоже не очень правильные. А насчет взрыва — даже близко такая мысль не бродит.

— Именно, — подтвердил Мациевич. — Настоящий шахтер думает о выработке, а не о выдуманных опасностях. Пусть товарищ Скворцова доложит вам, какова разница в выполнении сменных заданий у лучших и худших рабочих. Вот о чем нужно говорить: как подтянуть отстающих. Боюсь, — закончил он, — что все это свидетельствует не о технических просчетах, а о недостатке политической работы с массами. Простите, что я вторгаюсь в эту область, в мою область также вторгаются...

Маша огласила сделанный ею сравнительный расчет выработок лучших и худших рабочих. Цифры ее произвели впечатление, даже Семенюк приоткрыл закрытые от усталости глаза и покачал головой. Мациевич встал.

— Надеюсь, я больше не нужен вам, Гавриил Андреевич? — спросил он официально. — Разрешите нам уйти со Скворцовой?

Он поклонился каждому, удаляясь. Его поклон Симаку был особенно вежлив и глубок. После ухода Мациевича Симак стукнул ладонью по столу и с досадой воскликнул:

— Три поколения шахтеров — и ведь не врет, черт его дери! Откуда же у этого потомственного рабочего такой гонор?

— Ты меньше обращай внимания на его гонор, — посоветовал Озеров. — Я к нему привык, он по-своему, я по-своему — ничего, ладим. А человек он дельный — настоящий техник.

— Все вы народ дельный, — сумрачно отозвался Симак. — Только дело у вас идет неважно — одна беда. Не хотите согласиться, что не в одной технике вашей дело, имеются и другие моменты.

Раздражение еще сидело в нем, он сердито обратился к Камушкину:

— Ты тоже хорош — рыцарь без страха и упрека! Дня не проходит, чтоб не похвастался — то достижениями, то людьми, то перспективами.

Камушкин не растерялся, он подмигнул парторгу и рассмеялся.

— Именно, Петр Михайлович, а ты разве не знал, что у нас на участке все особенное — не как у других.

Мациевич, выйдя за дверь, жестом пригласил Машу к себе. Она остановилась посреди его кабинета, не присаживаясь. Мациевич, склонив голову, хмуро прохаживался по дорожке. Он долго не начинал разговора.

— Конечно, Симак прав, — сказал он неожиданно. — Люди побаиваются. Неправ он в другом — что мы должны считаться с этой боязнью. Мы обязаны разогнать пустые страхи, а не ориентироваться на них. В первую очередь он сам это обязан сделать. Прошу вас, Мария Павловна, разнесите вашу сводку производительности отдельно по участкам — проверим, насколько падает производительность в опасных местах.

Маша думала, что он даст ей еще задание: он не отпускал ее. Словно забыв, что она еще находится в кабинете, он прохаживался взад и вперед, уставясь глазами в пол. Она прервала его размышления:

— Скажите, Владислав Иванович, я давно хотела спросить... Я, конечно, знаю, что означает атмосфера, насыщенная рудничным газом, — вечная опасность взрыва. Насколько эта опасность реальна? Ведь в шахту вдувается наружный воздух — свежая струя во всех разработках. Чего же бояться?

Замкнутое лицо Мациевича вдруг осветилось улыбкой, даже голос его подобрел. Он словно стряхнул с себя задумчивость и заговорил с оживлением:

— Именно так, Мария Павловна, и на этот раз вы угодили в самую точку — свежий воздух выносит метан наружу и предохраняет от возможности взрыва. И пока вентиляторы работают исправно, опасность невелика. Конечно, могут появиться местные скопления газа, их нужно немедленно ставить под свежую струю воздуха. Свежая струя — это самое радикальное средство защиты. Другое средство — предохранение от пламени, искр, трения, строжайший запрет курения, спичек, свечей, исправные электрические контакты и прочее. Нужно совпадение сразу трех причин — исчезновение свежей струи, появление в данном месте метана и вспышка пламени, чтобы произошло несчастье. Каждому понятно, как маловероятно подобное трагическое совпадение трех независимых явлений, — именно поэтому мы, руководители шахты, уверены в безопасности работ. Уверенность эту нужно передать каждому рабочему — разумно передать, чтобы люди поняли, что безопасность зависит и от них. Это, между прочим, и называется — работа с массами. А если несчастье произойдет, размеры его трудно предугадать. Несчастья бесконечно разнообразны, катастрофа на катастрофу не приходится. Позволю себе привести один пример. В 1942 году в Маньчжурии, на угольной шахте, оккупированной японцами, произошел самый крупный во всей истории угольной промышленности взрыв. В одной из разработок взорвался метан, в штольнях начались пожары. Что нужно было сделать? Нужно было нагнетать в забои свежий воздух, чтобы люди не задохнулись. Но это значило разносить по выработкам пожары, терять драгоценный уголь и доходы акционеров. Управляющий принял решение спасти шахту для хозяев. Он остановил вентиляторы, приговорил к смерти тысячу пятьсот человек, ничто их не могло уже спасти. Когда шахта была раскрыта, из нее неделями выносили трупы, целая стена трупов окружала шахтный ствол — люди добрались сюда из самых отдаленных забоев и здесь погибли от удушья. Вы понимаете, Мария Павловна? Ни один из этих людей не погиб бы, если бы управляющий был человеком, а не безжалостной машиной для наживы.

Он кивнул головой, отпуская Машу.

4

В коридоре Маша столкнулась с Синевым — он выходил от Озерова. Синев остановился и задержал Машу. Маше нравился этот красивый, умный, вежливый юноша. Он был сравнительно молодым работником шахты, приехал в Ленинск всего за год до Маши — сразу после окончания института — и теперь руководил всей сложной маркшейдерской службой крупнейшего подземного предприятия комбината. Случайно он оказался первым человеком, которого Маша встретила, когда пришла с направлением отдела кадров. Синев предупредительно проводил ее тогда до самых дверей директора. Так начавшееся их знакомство продолжалось и дальше и постепенно перерастало в дружбу: они виделись каждый день в управлении, уже несколько раз ходили вместе в кино. Еще не было случая, чтобы, повстречавшись, они не поговорили минут пять. Сейчас, озабоченная и недовольная, она прошла мимо. Изумленный, он окликнул ее:

— Что случилось, Маша? — спросил он, догоняя ее. — Вы не хотите разговаривать со мной?

— Что вы, Алеша! — отговорилась она. — Просто я очень занята.

Он смотрел на нее, улыбаясь. Он сразу понял, почему она холодна. Положив ей руку на плечо, он проговорил добродушно:

— А может, вы рассердились, что я промолчал, когда Мациевич апеллировал ко мне? Не отпирайтесь, я все видел — вы сразу покраснели и отвернулись, словно я совершил что-то очень плохое. Мне показалось даже, что вы тотчас меня возненавидели.

— Ну вот еще тоже — возненавидела! — возмутилась Маша. — Но если говорить правду, я была очень удивлена, Алеша. Ваше мнение, как маркшейдера, имеет первостепенное значение в этом вопросе, и вы не имели права отмалчиваться, хотя бы пришлось кое с кем и поссориться.

Он сразу стал серьезным.

— Это не совсем так, Маша. Именно потому, что мое мнение во многом является решающим, я должен его высказывать осторожно. Вы, к сожалению, рассуждаете так же горячо и так же поверхностно, как мой приятель Павел Камушкин. Он мне сказал после вашего ухода: «Тебе бы в послы идти, а не в техники — дипломатничаешь, Алешка!». Но вы не Павел, тот ни с какими аргументами не считается, вам же я постараюсь доказать свою правоту.

Они отошли к угловому окну. Синев продолжал с той же серьезностью. Правильно, он не поддержал Мациевича, со стороны это может показаться трусостью — не хочет, мол, портить отношения с парторгом шахты. В действительности же у него были серьезные основания поступать именно так. Обе спорящие стороны по-своему правы. Мациевич утверждает, что проведенные в жизнь меры уже сейчас обеспечивают безопасность работ. И это верно — метан обезврежен. Симак же требует доведения начатых мер до конца — против такого требования спорить тоже трудно. А вокруг этих простых и очевидных истин нагромоздили горы личных дрязг — до истины нелегко добраться, особенно непосвященному. Он твердо решил ни одну из враждующих сторон не поддерживать, пусть уж они дерутся, если без этого не обойтись, дело только выиграет, если Симак заставит Мациевича поторопиться с переоборудованием, а Мациевич убедит Симака, что безопасность достигнута.

Маша не подозревала, что такие серьезные соображения руководили Синевым. Она мысленно упрекнула себя — нет, в самом деле, у нее невозможный характер, нельзя с таким недоверием относиться к людям.

Чтобы скрыть свое смущение и раскаяние, она торопливо сказала:

— Значит, вы тоже считаете, что в шахте полностью безопасно?

— В глубинах земли всегда опасно, — рассудительно заметил Синев. — Над головой тысячи тонн породы — под голубым небом, конечно, спокойнее. У кого нервы слабые, тот должен оставаться на поверхности. Да вы сами это хорошо знаете, вы ведь спускались в нашу шахту.

Маша сказала озабоченно:

— В ближайшее время мне придется поработать в забоях — конечно, не обушком, я займусь хронометрированием. Вы не проводите меня на нижние горизонты?

Он с готовностью отозвался:

— Разумеется, провожу.

Был конец рабочего дня, коридоры наполнялись собиравшимися домой служащими. В комнатке бухгалтерии никто не поднялся, сейчас только начиналась настоящая работа — без помех со стороны. Маша тоже села за расчеты — выполнять новое задание Мациевича. Все предварительные итоги были у нее собраны, она быстро расчертила формочку и стала заполнять ее цифрами. Она придирчиво проверяла каждую цифру, спор в кабинете Озерова из психологии превращался в экономику. Все объяснения Симака подтверждались: на нижних, самых опасных горизонтах шахты, средняя выработка падала, там хуже всего выполнялись нормы. Да, конечно, в местах, где человек опасается за свою жизнь, работа не ладится — именно это говорил Симак, именно об этом твердили ее данные. Она вспомнила и упрямые слова Мациевича: «Страхи рабочих свидетельствуют о плохой политической работе среди них». Кто же, однако, прав? Неужели оба они правы, как думает Алексей? Маша показала новую свою сводку Комосову; тот бросил на нее взгляд и свистнул.

— Молодец, Маша! — сказал он одобрительно. — Вот теперь и сами вы показываете, что не одна крепость пород имеет значение при выполнении норм, еще и крепость духа важна. — Он поднял на Машу усталые глаза. — Вы бы шли домой, уже все, кроме нас, несчастных, убрались. Ничего, послезавтра отыграемся: возьмем по три выходных на брата за переработку и — кто куда, а я на охоту. Сейчас последние дни, пока солнце не ушло под землю, бить куропатку в тундре.

Маша знала, что Комосов страстный охотник, он мог сутками пропадать в горах. Ей было неудобно уйти, оставляя соседей над долгой работой. У нее, как и у них, хватало забот, она не справлялась с ними в положенные восемь часов трудового дня. Она все больше понимала, что служба вовсе не такова, как представлялось ей прежде: перевешивай номерок и переносись в иное существование. Служба — ее служба во всяком случае — была чем-то совсем иным. Это была моральная ответственность, упавшая ей на плечи, номерок перевешивался, а ответственность оставалась. Сегодняшнее столкновение с Камушкиным не было случайностью, такова природа ее работы — столкновений с людьми не избежать. Каждый ее расчет, каждый вывод, сделанный на основе ее расчета, немедленно превращался в труд и зарплату рабочих, она что-то набрасывала карандашиком, цифры и линии вторгались в жизнь многих людей, радовали или огорчали их, подталкивали их вперед или гирей висели на ногах. И все яснее Маша понимала и то, что ей нельзя отсиживаться за столом; раз уж она занялась таким близко всех касавшимся делом, нужно делать его там, где трудились те, работу которых она анализировала. Она вспоминала старенькую шахту своей студенческой практики — вот уж зловещее и отвратительное место, нора крота, протянувшаяся на километры, сырая и затхлая. Она рассердилась на себя за эти праздные мысли. Нет, никто не посмеет ткнуть в нее пальцем и посмеяться: «Только чистенькую работу обожаете, девушка!»

Теперь она размышляла над планом задуманного исследования, набрасывая его на бумаге. Мысль о таком исследовании явилась ей во время разговора с Камушкиным. В самом деле, чего проще: не верите в обоснованность технических норм? Она обоснует их с секундомером в руке, непосредственно на рабочем месте шахтера, не за письменным столом — кончено тогда со всеми вздорными разговорами! Однако была и другая сторона, сейчас Маша ясно видела эту другую сторону. Нет, дело не только в том, что нужно будет спуститься в шахту, провести там несколько дней, может быть, недель. Новая огромная ответственность стояла за ее решением: она задумала проверить, кто прав — книги и инструкции, обосновывающие технические нормы, или те, кто нападает на эти нормы как нереальные. Ей придется критически повторить кропотливую работу целых институтов, бригад ученых — не слишком ли много она берет на себя? Но если она этого не сделает, нормы, не приспособленные к местной обстановке, останутся книжными, их будут оспаривать, оправдывать их нереальностью всякие собственные неполадки. У Маши было чувство пловца, поднимающегося на только что выстроенную необычно высокую вышку — можно и разбиться и поставить новый рекорд.

5

Часов в девять Комосов снова посоветовал Маше закругляться. Маша заперла бумаги в стол и оделась. Большинство служащих управления и почти все рабочие жили в поселке при шахте. Маша еще не успела получить здесь комнату и проживала в гостинице в городе, в десяти километрах от шахты. Путь домой был не прост — нужно было пройти километра три пустынной дорогой по склону горы, потом спускаться по подъемнику, пересаживаться из автобуса в автобус. По горной дороге до подъемника курсировал автобусы шахты, но они ходили по графику — в часы пересменок и начала и окончания работ в управлении.

— Придется вам идти пешком, Маша, — сказал Комосов, зевая. — По времени года не очень безопасно — полярная темнота. Вы лучше подождите в вестибюле попутчика — начальство всегда задерживается, кто-нибудь подвернется.

— Я и сама доберусь, — храбро ответила Маша. — Уже раза два ходила — ничего страшного. Вы, мне кажется, преувеличиваете опасности пути.

Комосов недоверчиво усмехнулся. Он знал, что Маша самолюбива и, если чего-нибудь боится, то не признается в этом. Он пожелал Маше счастливой дороги.

Маша вышла наружу и остановилась на крыльце. На склонах горы лежала темная зимняя ночь. Гора была опоясана широкой полосой огней наружных построек шахты. Было безветренно и, по местным понятиям, не очень холодно — около сорока градусов мороза. Маша обернулась в сторону, где лежал город — узенькое шоссе вилось по склону, отчеркнутое линией столбов, оно пропадало где-то в расщелине между двумя горами. Теперь, когда не перед кем было храбриться, на Машу напал страх. Она вспомнила все, что знала об этой дороге: не было дня, чтобы там не падали глыбы снега, не срывались с вершины неожиданные встрепанные ветры. Хоть ничего похожего пока и не случалось, но упорно поговаривали о возможных встречах с нехорошими людьми. Если с ней случится несчастье, никто даже не узнает, где оно произошло, — до дна ущелья далеко, снег покроет все следы.

Маша заколебалась и возвратилась в вестибюль.

Из кабинета Озерова вышел Камушкин. Он был одет по-зимнему, не в той щегольской форме, в какой явился в бухгалтерию. Это была такая же одежда, что и на Маше, обычная одежда севера — оленья шапка-ушанка, теплое полупальто — «москвичка» — и валенки. Он направился прямо к Маше, стоявшей в коридоре у стенгазеты.

— Опоздали к автобусу, Маша, — сказал он дружески. — Положение незавидное. На ваше несчастье начальство разбрелось, попутчиков не будет.

Дружеское участие Камушкина понравилось Маше еще меньше, чем его недавний нахальный взгляд и надменный тон. Маша по натуре принадлежала к людям, которые в неприязнь вкладывают больше страсти, чем в любовь. Камушкин показался ей неприятен с первого взгляда и первого слова. Все, что она узнавала о Камушкине, лишь углубляло эту внезапно вспыхнувшую вражду — и его слава бесшабашного и бездумного гуляки и танцора во внеслужебные часы, и репутация признанного крушителя местных девичьих сердец, и даже то, что к нему хорошо относились товарищи и начальство.

— Прошу обо мне не беспокоиться, — резко ответила она, отворачиваясь. — Кроме того, я предупредила вас, что меня зовут Марией Павловной Скворцовой. Не забывайте, пожалуйста.

Он глядел на нее с той же раздражающей дружеской усмешкой.

— Не понимаю, зачем вы брыкаетесь, — сказал он. — Я ведь обижать вас не собираюсь. Мы не на работе — трудовой день кончился. Можем говорить, как люди.

Она сердито повернулась к нему.

— Вот что — как люди! А на работе, значит, мы не люди? Удивительная у вас логика! Ставлю вас в известность, что я в служебные часы такой же человек, как и в неслужебные. Я не превращаюсь по звонку из человека в зверя и из зверя в человека.

— К чему такие преувеличения? — возразил он спокойно. — Я имел в виду только то, что на работе мы работники и что в это время интересы дела командуют у нас всем остальным. Человек может мне нравиться, а его служебные действия — нет. И я не постесняюсь разнести его действия. Не надо путать личные отношения с деловыми. Женщины обычно их путают.

— Ничего не могу поделать, товарищ Камушкин, я женщина, — объявила Маша. — Придется уж вам с этим прискорбным фактом помириться, равно как и с тем, что я не разделяю отношения на деловые и бездельные... то есть, простите, личные.

На это он возразил с прежней веселостью:

— А я не собираюсь скорбеть по поводу того, что вы женщина. Совсем наоборот, очень рад этому.

Маша поняла, что переспорить Камушкина ей не удастся. Она проговорила с досадой:

— Знаете, кончим наш нелепый разговор. Боюсь, через несколько слов вы договоритесь до того, что я вам нравлюсь и что вы без меня жить не можете, хотя отлично до сих пор жили. Извините, мне нужно идти. До свидания!

Она решительно пошла к выходу. Камушкин следовал за ней. На улице она крикнула ему с гневом:

— Почему вы идете за мной? Разве вы не слышали, что я сказала вам: до свидания!

Он приблизился к ней вплотную и заглянул в лицо. Она отвела голову. Он был серьезен и хмурился.

— Не глупите, Маша! — сказал Камушкин. — Девушке нельзя одной идти ночью по этой дороге. Разрешите, я вас провожу. Я свободен и сделаю это с удовольствием. Если вам не нравится беседа со мною, я буду молчать, это обещаю. Хоть вообще мне, конечно, есть что вам сказать по личному вопросу.

Она молчала, не желая соглашаться и не решаясь отказать. Он поспешно добавил:

— Я серьезно, поверьте. А если вы уйдете одна, я все равно буду следовать сзади — на всякий случай. Никогда не прощу себе, если с вами что случится.

Она сдалась:

— Ладно, идемте. Только предупреждаю — чтоб вы держали себя прилично. О вас говорят, что вы не очень церемонитесь, я сама в этом убедилась — в деловых отношениях, конечно. Так вот — давайте больше не ссориться.

Он взял ее под руку, она тут же высвободила ее. Они с шоссе перейми на ширококолейку: на шпалах снегу было меньше, чем на камнях шоссе. У обрыва горы снова началось шоссе. Постройки остались позади, слева чернел провал долины, справа поднимались крутые диабазовые склоны. Неяркое полярное сияние вспыхивало и металось в небе, скупо населенном бледными звездами, в свете сияния можно было различить повороты дороги. Потом оно вдруг стало разгораться, в далекой высоте бешено крутились световые вихри, обрушивая на землю ливень сверкающих стрел и копий. Маша остановилась, запрокинув голову.

— Красиво! — сказала она. — Целый ураган света.

— Красиво, — согласился Камушкин. — Бывает еще красивей. Для влюбленных лучше луны. Жаль, что мы с вами не влюбленные.

Маша, хоть Камушкин вел себя сейчас хорошо, не так, как в управлении, была еще зла на него. Она возразила небрежно:

— В самом деле, вам жаль? Да, правда, вы ведь радуетесь, что я женщина, а не мужчина и собираетесь что-то сказать «по личному вопросу». Уж не хотите ли вы объясняться мне в любви? Вот было бы чудесное завершение наших служебных бесед. Что же вы молчите?

— А что мне говорить? — ответил он угрюмо. — Насмехаться вы умеете. Скажи, что любишь вас, такое услышишь, что жить не захочется.

— Правильно, — подтвердила она. — Признаюсь вам по чести, вы мне не нравитесь. И мне тоже жаль, но только не того, что мы не влюбленные, а что нет повода — я бы вам рассказала, как я к вам отношусь и каким вижу вас.

Он обернул к ней насупленное лицо и предложил:

— А вы валяйте Так — без повода. Интересно послушать. Хочу знать, каков я кажусь со стороны.

— Не надейтесь, картина не очень приглядная, — беспощадно предупредила она.

Он снова взял ее под руку, помогая перепрыгивать через камни и твердые комья снега, — она в увлечении не заметила этого. Она все вспомнила, все поставила ему в вину, не щадила его гордости и самолюбия, упрекнула его даже тем, что он хорошо работает. «Это неплохо — быть лучшим, а у вас на лице написано: дайте дорогу, я выше вас всех! Вы словно плюете на других взглядами, а не глядите», — убежденно сказала Маша. Еще ни разу ему не приходилось так много слышать о себе плохого, она чувствительно жалила, эта не очень красивая, зато умная и насмешливая девушка — каждое место начинало болеть, как только она его касалась.

Камушкин грубо прервал ее:

— Все, хватит! Картина ясная — хулиган, сквернослов, трус, задавака. Удивляюсь, как милиция за шиворот меня не хватает. Даже страшно такого на свободе держать.

Она напомнила:

— Вы сами хотели слушать.

Он продолжал с досадой:

— Да, сам. Только не всякое приятно слушать. Вылили на меня, что полагается и что не полагается — кто такому обрадуется? Нет, вижу — с вами нужно ухо востро.

Она весело отозвалась:

— Вот и хорошо, что увидели. На будущее пригодится. Будете смирнее.

Ее насмешки все больнее жгли его. Он сказал угрюмо:

— Вряд ли буду смирнее. Смирным с вами нельзя — забьете. Другой совсем подход требуется. Натуральный.

Она неосторожно поинтересовалась:

— Это как надо понимать — натуральный подход?

— Вот так! — крикнул Камушкин, с силой хватая ее.

Он прижал ее к груди, жадно целовал, потом, отброшенный сильным толчком, упал на камни дороги. Вскочив, он снова хотел кинуться на нее. Маша подбежала к краю обрыва.

— Попробуйте сделать хоть шаг! — пригрозила она гневно. — Я прыгну вниз и, если со мной что случится, вы ответите.

Устрашенный, он не двигался.

— Маша, не дурите! — молил он. — Ну, не надо, слышите! Отойдите от обрыва. Все может быть, ну какая же вы, право!

— Уходите назад! — требовала Маша. — Еще, еще! Вот так. Теперь слушайте. Я пойду дальше сама. Вы возвращайтесь в поселок. Не нужны мне такие горячие провожатые.

— Я не могу вас покинуть, — настаивал он, не приближаясь.

Она крикнула:

— Слышите вы — сейчас же убирайтесь! Не заставляйте меня звать на помощь.

Камушкин ответил упрямо:

— Зовите. Одну я вас не оставлю.

Она уже готовилась закричать, но со стороны шахты на дороге показался высокий человек. Маша издали узнала его по широкой прямой походке, он двигал ногами, как шестами. О нем на шахте говорили: «Василий шагами меряет метры». Это был Ржавый, бурильщик, он, как и Маша, жил в городе. Ржавый с удивлением переводил взгляд с Камушкина на Машу.

— Что у вас случилось? — спросил он. — Для прогулок вроде не место. И погода не благоприятствует — мороз.

— Для милых полсотни градусов — не мороз, — с невеселой усмешкой возразил Камушкин. — И чем место плохое? Самое подходящее для горячего объяснения на холоду.

Маша подошла к Ржавому и взяла его под руку. Они уже встречались в управлении, немолодой рабочий относился к ней ласково, как к дочери.

— Очень хорошо, что вы подоспели, Василий Аверьянович, — сказала она. — Товарищу Камушкину нужно возвращаться, а я боялась идти одна. — Она повернулась к Камушкину. — До свидания, надеюсь, никто на вас не нападет.

Когда они прошли вперед, Ржавый сказал:

— Ну, а все же, Маша, что произошло? Никогда не поверю, чтоб Павел бросил девушку одну на дороге. Нагрубить — это он может. Наверное, лишнее себе позволил?

— Да нет же, — уверяла Маша. — Ничего не было.

И чтоб уйти от этой темы, она заговорила о нормах выработки, близко интересовавших и ее, и Ржавого.

6

Камушкин мрачно плелся обратно. Он вспоминал злые упреки Маши, ее обвинения и насмешки — все в нем кипело. Вот каким его изображают, вероятно, так она и другим о нем говорит! И главное, сама кто — вздорная девка, только диплом у нее в кармане, ни рожи, ни тела! Но губы его еще ощущали прикосновение ее губ, сердце гнало по телу горячую кровь. Камушкин остановился и в бешенстве топнул ногой.

— Будет! — крикнул он на себя. — Губы как губы, у других лучше. Выкинуть эту чепуху из головы!

У самого поселка Камушкина встретила женщина в шубе, закутанная до глаз в платок. Она, видимо, давно уже тут стояла — на платке нарос толстый слой инея.

— Здравствуй, полумуженек! — приветствовала женщина Камушкина. — Интересно, кого это ты вздумал в город провожать?

Он сердито прошел мимо, женщина потянула его за рукав. Он рванулся, но она была сильна, как мужчина, — разъяренный, он повернулся к ней.

— Отстань, Полина! — сказал он нетерпеливо. — Нет у меня сегодня настроения объясняться. Пусти, слышишь!

— Вот оно что! — протянула она насмешливо. — Настроения нет. Заболел, может? Воспаление хитрости прихватил? Беседовать со мной настроения нет, а с чужими бабами прогуливаться — есть?

Он презрительно покривился.

— Кто о чем, а вшивый о бане. Неужели ты не можешь дня прожить, чтоб не думать о таких глупостях?

— Я-то могу, — возразила она. — Ты не можешь, Паша, вот в чем беда. Ты одно понимаешь — дурное дело не хитрое. Приходится мне учитывать такой твой характер, ничего не поделаешь. И лучше будет, если ты это запомнишь на будущее.

Он грубо выругался.

— Не пугай! — сказал он грозно. — Я тебе ничего не должен — сама лезла. И предупреждал тебя — на долгую возню меня не хватит. Помнишь свои слова: «Я тебя о любви спрашиваю, а не о сроках». Кончился наш срок, понятно?

— Понятно, — ответила она без злобы. — Спасибо за уведомление. А если я твою новую любовь с тобой повстречаю, морду я ей начищу, в этом не сомневайся.

Он отвернулся от нее и зашагал дальше. Она молча шла рядом. Пройдя несколько домов, Камушкин остановился.

— Полина, — сказал он устало. — Это же глупо, пойми. Ну, чего ты идешь за мной, как привязанная? Отцепись, ей-богу!

— Привязал к себе, вот и привязанная, — отозвалась она немедленно. — Ничего поделать не могу, тянет за тобой неведомая злая сила. Просто сама плачу от горя, что так невесело получается.

Как он ни был расстроен, он не удержался от смеха. Глядя на него, она сама звонко, на всю улицу расхохоталась. Досадуя на себя за неуместное веселье, он сказал:

— Повеселились, хватит. Пора по домам.

Она положила руку ему на плечо.

— Пойдем ко мне, Павел. Чаем угощу, печеньем хорошим — собственное.

Он покачал головой.

— Чаем и печеньем не обойдется, сама понимаешь. К чему это нам сейчас?

— Пойдем, — настаивала она. — Поговорим. Поговорить нам надо обязательно. Без разговору только на шею бросаются. Расставаться надо с толком, по-хорошему. Помнишь в песенке: «Уж вы, девушки, поверьте: расставанье хуже смерти!» Хоть словами скрасить такую грустную штуку. Пойдем, прошу тебя!

Он нехотя повернул назад. Для крепости она взяла его под руку. У крайнего барака, где она жила, он снова остановился и попробовал отговориться. Не слушая его, она вбежала в прихожую — он покорно шел позади.

Барак состоял из коридора, густо отмеченного дверьми, — каждая вела в крохотную комнатушку. Это было общежитие одиночек, известное в поселке под хлестким прозвищем «инкубатор». Комната Полины, квадратная, в восемь метров, была нарядна и хаотична. На окне висели шелковые гардины, на стене и на полу — ковры, на постели лежало дорогое покрывало. Но все было спутано и разбросано — на покрывале валялись халат, шляпа и книги, на столе стояла пудреница и коробка с новыми туфлями, ковры на стене были утыканы булавками и иголками с нитками — чтоб всегда находились под рукой. Полина схватила халат и скомандовала:

— Отвернись! По случаю твоего нового поведения, смотреть воспрещается, а то сам ослепнешь и меня сглазишь.

Камушкин, усмехаясь, повернулся к окну. Полина, переодевшись, захлопотала у стола. Камушкин молча поглядывал на нее. Он никогда особенно не любил эту красивую молодую женщину, но она поражала его своей бесшабашной смелостью и щедростью во всем — в страсти, в ненависти, в дружеской привязанности. Ему нравилось наблюдать за ее порывистыми движениями, нравился ее язык — насмешливый, точный и беспощадный.

— Значит, на другую перекинулся, — сказала Полина, наливая чай. — Вообще я давно от тебя такой подлости ожидала, еще до приезда этой Машки. Ненадежный ты человек, не годишься для серьезных отношений. Хорошей семьи с таким, как ты, не построишь.

— Это почему же? — поинтересовался он.

— А потому, — объяснила она деловито. — В настоящей семье должна быть вера. Ну, в крайнем случае, один поглядывает за другим, если тот не очень тверд. А чтоб оба беспокоились — это уже никуда не годится. Ты же мой характер знаешь — только вздумают меня обмануть, я сама нос натяну.

— Правильно, — подтвердил он. — Характер у тебя собачий.

— Вот видишь, — продолжала она. — Так что нового для меня тут нет. Другое меня удивляет — что ты в ней нашел? Худющая, злая, никогда не засмеется. А ты на совещаниях глаз с нее не сводишь, чуть ли не рот на нее раскрываешь, весь выставляешься в ее сторону.

Он предложил сумрачно:

— Ладно, оставим этот глупый разговор.

— Нет, зачем оставлять? Раз начали, так давай закончим. Теперь второе — Алешка Синев. Он вокруг нее, как колесо вокруг оси. И она вроде не против — вместе в кино ходят, в городе встречаются, до подъемника он ее провожает, как вот ты сегодня надумал. По всей видимости — серьезно закручено. Так что, Паша дорогой, вряд ли тебе у нее посветит, хоть и слава о тебе такая идет, что ты герой. Это я, дура, на славу твою польстилась, а она не поддастся — умнее.

Он сказал, уязвленный:

— У тебя не спрошу, в кого мне влюбляться.

— И напрасно, — заметила она. — Я бы совет неплохой дала. Что, разве я не точно обрисовала?

— Ну, точно, — ответил он нехотя. — А что из этого?

Он сердито отвернулся. Полина внимательно глядела на него. Понизив голос, она сказала:

— Вижу — по серьезному влюбился. Врезался, как оглобля в окошко. Правильно выходит — любовь зла, полюбишь и козла.

Он гневно крикнул:

— Хватит! Я пришел к тебе не для того, чтобы ты у меня в душе иголкой ковырялась. Еще одно такое слово скажешь, сейчас же уйду!

Она протянула руку.

— Сиди, Павел. Не хочешь об этом, не будем. О другом побеседуем — много у нас накопилось для разговора. Ты, наверно, не помнишь, что сегодня ровно месяц, как ты в эту комнату не заглядывал? То я в вечерней смене, то ты на совещаниях, заседаниях и учебах — отговорки находились.

Он покосился на нее с угрюмой насмешкой.

— А ты дни считала, которые проходили без встреч?

— Считала, конечно. Я ведь не такая бездушная, как ты. Если люблю, так люблю. Сперва ничего не понимала, а потом сообразила, что к чему. Сердцу не прикажешь, для кого оно должно гореть, а мне, конечно, было обидно. Если хочешь знать, так не раз и поплакала от такой твоей неверности. А потом решила, что не стоишь ты, чтобы из-за тебя слезы лились.

Он осведомился равнодушно:

— Утешилась уже? Нового дружка нашла?

Она ответила дерзко:

— Понадобится, найду. У тебя тоже разрешения не затребую, в кого влюбиться. Думаешь, на тебе одном свет клином сходится? Имеются и получше тебя.

Он пожал плечами. От гнева она, красивая, стала еще красивей. Она видела, что он любуется ею. Она закончила с задором:

— Говорила же я тебе, что ты для серьезных отношений не годишься. Вывод отсюда я сделала.

— Интересно все же, какой?

— А такой. Вашего брата только свистни — полк примчится. Вот хочешь хоть на пари — твоего же приятеля Комосова опутаю.

— Он же лысый.

— Лысый, да надежный. За таким проживешь как за каменной стеной. Дело не в лысине, она не от годов, а от раздумья. Муж умный, добрый и ласковый, за чужими юбками не уносится — чего лучше?

— Бери Комосова, не возражаю. За многие его грехи в части расчетов полагается ему серьезное наказание. Хочешь, я вас сосватаю?

— А мой взгляд сам сосватает, без твоих слов, — уверенно возразила Полина. — Только взгляну, как надо — готово. Одно спасает Комосова — не нравится он мне. Знаю, что хорошо будет с ним, а не могу без души. Нет, если по-серьезному, так кроме тебя, Павел, мне лишь один человек нравится у нас на шахте.

Он вопросительно посмотрел на нее. Она сказала спокойно:

— Мациевич.

Камушкин с удивлением поставил стакан на стол. Полина наслаждалась выражением его лица. Камушкин знал, что Полина, что-либо задумав, не признает препятствий и ничего не страшится, но ее слова о Мациевиче показались ему бахвальством. Он сказал недовольно:

— Ври, но в меру. Глупости это — о Мациевиче.

Она настаивала:

— Вовсе не глупости. Такой же человек, как все вы. Сколько раз замечала — он в президиуме, я в заднем ряду, все на меня поглядывает. Перед тем, как я на мое горюшко с тобой закрутила, он меня в театр приглашал. Да, да, в театр, не как ты — кроме кино ничего не признаешь.

— Почему до сих пор об этом не говорила? — недоверчиво спросил Камушкин.

— А зачем было говорить? Ревность понапрасну возбуждать? Ты ведь бешеный — сам не знаешь, что в иную минуту выкинешь. А теперь, после нашего окончательного объяснения, можно и не скрываться.

— Невероятно! — бормотал он, качая головой. — Мациевич тебя приглашал!

— Ну, прямо — невероятно! — воскликнула она с досадой. — Почему невероятно? Он, во-первых, холостой — надо же ему когда-нибудь жениться.

— Жениться ему, конечно, надо. Только ты ему не пара, Полина.

— Это как сказать. Диплома у меня, конечно, нет — простой контролер ОТК. Зато сердце есть. Да, да, не ухмыляйся, имеется. Даже от такого плохого, как ты, сама не ушла бы. Если я по-серьезному полюблю, так на всю жизнь, все снесу для друга — напасти, болезни, неудачи. Ходить за мужем буду, как за ребенком, угадывать, чего ему надо. Один ты у меня этого не видишь, а другие соображают.

— Да я не спорю, — примирительно сказал он. — Знаю, что ты хороший человек.

Полина быстро вспыхивала и быстро остывала. Она возвратилась к старой теме:

— Так, все же, что у тебя с твоей новой кралей? Провожал ты ее, но что-то скоро вернулся. Не вышел разговор?

Он знал, что легко она не отвяжется. И перед ней ему не хотелось ни хитрить, ни скрываться. Он невесело пошутил:

— Вышел, только боком. Сама же ты все подробно описала — и что Алешка Синев дорогу перебежал, и что умная она, на внешность не поддается. Все получилось точно по твоей описи.

— Тогда отставать от нее надо, — заметила Полина. — Не позориться.

Он ответил с горечью:

— Точь в точь и она так говорила. Предложила отстать. Для убедительности обругала и поиздевалась.

Полина вспыхнула снова. Глаза ее грозно заблестели. Она крикнула с возмущением:

— А какого черта ей еще надо? Слепая она, что ли? Тебя и Алешку рядом поставить — орел и воробей! Кто на шахте этого не знает!

Он ответил с усмешкой:

— Она, видимо, не знает. Может, возьмешь, ради того, что теперь мы с тобой только друзья, на себя этот труд — разъяснить ей, насколько я лучше, чем Синев? Поделишься своим опытом обхождения со мной. Интересно, что бы она тебе на это ответила?

Полина с негодованием отрубила:

— Не вижу ничего интересного. И говорить с ней не собираюсь. А вот, чем я тебе пригрозила — морду ей при встрече начистить — это нужно бы.

— Зачем? — спросил Камушкин серьезно. — И за что?

— Найдется — за что и зачем!

— Ты собиралась скандал устроить потому, что думала, будто она меня от тебя отбивает. Теперь ты сама видишь, что она не отбивает, а отталкивает меня. Почему же ей такое жестокое наказание?

— Говорю тебе — есть причины. Чтоб разула глаза и видела людей, каковы они есть.

Камушкин встал и взял пальто.

— Ладно, я пошел. К удивлению, поговорили мы с тобой хорошо, все точки на места поставили. Даже не ожидал, что так мирно получится. А ты держи меня в курсе, как у вас дела с Мациевичем пойдут. Все-таки начальник мой, да и тебе я добра желаю — интересно, чем закончится.

— Не беспокойся, скрываться не буду, — пообещала она, провожая его до двери. — Решусь, наконец, в него влюбиться, вся шахта мигом об этом узнает.

7

Маша принесла Мациевичу новую сводку. Он склонился над нею, молча барабанил пальцами по столу. Она заскучала — в этом кабинете приходилось сидеть, как в засаде, не шевелясь и не разговаривая, чтобы не спутать нить размышлений главного инженера.

— Прекрасно, — сказал наконец Мациевич, — великолепно, сразу видно, в чем существо наших сегодняшних затруднений. Но этого недостаточно, Мария Павловна, придется вам еще потрудиться.

Новое задание было сложно, целая исследовательская работа. Мациевич требовал, чтобы точно такие же сводки были составлены не только по текущему месяцу, но и по прошлым, за два года сразу. Метан появился четыре месяца назад, нужно проверить, как шла работа до его появления, — это даст возможность установить его влияние на производительность труда.

— И очень прошу ни на что другое не отвлекаться, — предупредил главный инженер. — Для меня сейчас нет ничего важнее этой вашей работы.

Маша трудилась усердно, но материал был обширен, только через неделю она сумела все закончить. Теперь это была целая ведомость — месяцы, участки, количество рабочих, тонны выданного угля. Маша принесла и вычерченную ею кривую производительности труда, это было уже сверх задания. Кривая была странная — то опускалась вниз, то взлетала, люди работали неровно, это было видно с первого взгляда.

— Как вы думаете, почему скачет производительность? — спросил Мациевич после долгого молчания.

— Не знаю, — ответила Маша. Это был теперь ее обычный ответ в разговорах с главным инженером — тот задавал ей слишком трудные вопросы. Но он не сердился на ее незнание. Он словно гордился тем, что все это так сложно.

— А я знаю, — объявил Мациевич, рассматривая кривую. — И то, что я узнал это из ваших данных, является самым тяжким обвинением против Симака и всех, кто ему подыгрывает.

В этот день главный инженер не пошел на планерку, ее проводил Озеров. Это был редкий случай: аккуратный Мациевич никогда не пренебрегал своими обязанностями. В его кабинет входили только по вызову — работники ОТК, лаборатории, горноспасательной станции. Не одна Маша получала от него задания, все приносили затребованные от них данные, целые сводки. Мациевич рисовал новые кривые рядом с кривой Маши. Потом он несколько дней сидел над докладом, обдумывал каждое слово, старался весь доклад уложить на одной странице — было нелегко писать так сжато.

— Гавриил Андреевич, — позвонил он Озерову, когда работа была закончена. — Задержись сегодня на часок, нужно посоветоваться без посторонних.

Озерову главный инженер без объяснений положил на стол все выведенные кривые. Спокойный директор шахты не удержался от восклицания.

— Здорово, — сказал он. — Значит, до появления рудничного газа производительность была как производительность, а после сразу скакнула вниз и только временами поднимается на короткий срок. Выходит, прав Симак — боятся люди шахты.

Мациевич нахмурился.

— Я прав, Гавриил Андреевич, а не Симак — неужели ты этого не видишь? То, что рабочие боялись вначале работы в плохо оборудованной по газовому режиму шахте, понятно и без Симака, мы сами с тобой боялись за них, вспомни. Но все опасные горизонты давно обеспечены нужными механизмами, а люди все боятся. Почему, я спрашиваю? Обрати внимание на эти подъемы производительности. Они совпадают с окончаниями отдельных узлов переоборудования. Вот весь стовосьмидесятый горизонт перевели на взрывобезопасные механизмы — сразу по всей шахте увеличивается выработка. Почему она потом падает? Вот восьмой квершлаг, вот штольня «Западная», вот вторая откаточная — везде взлет и снова падение. Это цифры, Гавриил Андреевич, не разговоры, не соображения — безжалостные цифры. И они, цифры эти, свидетельствуют об одном — народ сперва успокаивается, работает нормально, потом опять ползут страшные слухи, и руки у людей опускаются. Не газ, а зловещая атмосфера темных слухов отравляет нашу шахту. Симак ходит по общежитиям, каждый день спускается в шахту, беседует с шахтерами, он, конечно, знает, чем они дышат, я этого ни одной минуты не отрицал. Но я и без его разговоров с людьми знаю обо всех их опасениях — вот они в виде кривой изображены. Теперь я тебя как директора спрашиваю: переоборудование верхних, вполне безопасных горизонтов продлится еще год, неужели весь этот год мы будем работать в подобной невыносимой обстановке? Почему не борются со слухами, не разъясняют шахтерам нелепости их опасений? Почему мы, инженеры, должны строить свою работу в зависимости от каких-то обывательских соображений, — ах, где-то газ, ах, страшно, ах, как бы чего не вышло? Реконструкцию шахты ты ведь не ускоришь на этом основании, это не технический аргумент, к нему в министерстве не прислушиваются.

— Каков же твой вывод, Владислав Иванович? — спросил Озеров после долгого молчания.

— Тот же, Гавриил Андреевич, ты его знаешь. Нам собираются дать новую партию рабочих. Я решительно возражаю против этого. Новые рабочие попадут в ту же атмосферу, в которой живут и старые.

Он положил перед Озеровым свой доклад.

— Прочти. Это рапорт Пинегину. Я настаиваю на проведении широкой разъяснительной кампании среди рабочих. Возглавить ее может только партийная организация. Если Симак неспособен справиться с таким делом, пусть присылают нам другого партийного вожака.

Озеров усмехнулся и покачал головой.

— Крепенько, крепенько! Ты, надеюсь, понимаешь, что я такого рапорта подписать не могу. Это уж твоя сфера — техническая сторона производства. С остальными причинами, как несущественными, ты можешь и не считаться. Но я, как и Симак, должен учитывать настроение рабочих.

— Учитывать ты должен. Но ты, как и Симак, обязан бороться с вредными и бессмысленными настроениями, а не поддаваться им — вот о чем предмет спора, — настойчиво продолжал Мациевич. — Ладно, я не собираюсь тебя переубеждать, ты так же, как и я, понимаешь обоснованность моих слов. Ты привык лавировать, сглаживать наши трения с Симаком — напрасно, между прочим. Ставлю тебя в известность, что этот рапорт я отправлю Пинегину за одной своей подписью. Вероятно, закончим наш спор у него в кабинете.

Мациевич возвратился к себе и аккуратно запечатал рапорт в конверт — завтра утром он уйдет по назначению. Некоторое время главный инженер прохаживался по коврику, сумрачно раздумывая. Он не страшился предстоящего открытого столкновения с Симаком — все серьезные аргументы на его стороне, чего ему страшиться? Его возмущала бессмысленность того, что происходило на шахте. Он должен вести техническую реконструкцию, внедрять новые высокопроизводительные механизмы, обеспечивать реальную безопасность людей, а его заставляют погружаться в темный хаос слухов и сплетен. Уже одно то, что никто ни на одном собрании не осмеливается встать и открыто перед всеми признаться: «Боюсь!», — уже одно это показывает, какова цена охватившему всю шахту, как болезнь, нездоровому настроению. Когда агрегат плохо работает, об этом агрегате всюду кричат, не стесняются кулаком по столу стукнуть — уверены в своей правоте. А тут понимают, что это трусость, сами ее стыдятся — как же можно им, руководителям, знающим реальное положение вещей, считаться с трусостью, как с чем-то разумным?

Плохое настроение затягивало Мациевича, как паутина. У него был верный способ лечения от этой часто нападавшей на него хвори — плохого настроения. Он включил приемник, стал ловить музыку. Но Москва в этот день передавала только беседы, скучный голос бубнил о посещаемости каких-то собраний. Мациевич с досадой повернул регулятор.

8

Пинегин с неодобрением слушал дипломатическую речь Озерова — директор шахты умело сглаживал острые углы, он знал, что на этом совещании их будут ругать. Пинегин, невысокий, широкоплечий, вспыльчивый человек, уже начинал раздражаться: всяко можно было держаться в его кабинете — и кричать, и ругаться, и стучать кулаками по столу, — только не дипломатничать. Он грозно хмурился, делая пометки на листе бумаги, сердито поджимал губы. Озеров, много лет работавший с Пинегиным, разбирался в его лице, как в заученной книжной странице. Озеров продолжал свою речь, не отступая от задуманного плана, он лишь прикидывал в уме, долго ли ему еще удастся говорить: Пинегин, выходя из себя, мог прервать любого оратора. Все дело было в том, что Озеров решил пренебречь гневом своего начальника, он не добивался одобрения и похвал — хвалить все равно было не за что, — он стремился восстановить мир и дружную работу на шахте, а не углублять — и так они далеко зашли — личные нелады.

На диване, у самого стола Пинегина, сидели Симак и Волынский — секретарь горкома, по образованию инженер-металлург. Симак подтолкнул Волынского и прошептал:

— Будет гроза, Игорь Васильевич, смотри, как Пинегин злится.

Волынский усмехнулся. Он не помнил случая, чтобы Пинегин не злился, если что шло не так, как ему хотелось. А сейчас, с какой стороны ни смотри, дело оборачивалось плохо — коксохимический завод работал с колес, запасы кокса на металлургических заводах падали. Волынский ответил тихо и укоризненно:

— А вы надеялись, что обойдется без грозы? Подожди, я еще пару зарядов добавлю к его громам. И так уже по всему городу кричат, что я ваши грехи покрываю.

Пинегин наконец не выдержал. Он вмешался в речь начальника шахты.

— Все это очень интересно, товарищ Озеров, докладывать ты умеешь. Вот в техническом отделе и повтори насчет реконструкции электровозной откатки и прочего. А здесь нас интересует одно: когда дашь угля достаточно? Заводы на голодном пайке — понимаешь? Главный инженер ручается, что и сейчас, без добавочной рабсилы, шахта справится с планом, а у тебя целая программа условий — новые рабочие, завершение реконструкции, жилстроительство, ровное планирование... Кого слушать, не понимаю.

Озеров, стараясь не глядеть на сидевшего напротив Мациевича, вновь — уже кратко — повторил свою мысль. Переброска добавочных рабочих на их шахту — мера чрезвычайная, она даст необходимый немедленный прирост добычи, этого и требует комбинат. А ускорение реконструкции шахты — вопрос постоянной нормальной работы, тут закладываются основы на годы, одно нужно увязать с другим: и быстрое увеличение добычи и обеспечение ее стабильности.

— Ты с этим согласен? — спросил Пинегин Симака.

— Вполне, — ответил Симак. Он добавил, пожав плечами: — На шахте нет ни одного человека, который бы не понимал, что мы держим в узде заводы комбината. У нас проходили партийные и профсоюзные посменные собрания — народ рвется в бой, все берут повышенные обязательства по проходке и добыче.

— Обязательства — повышенные, выполнение — пониженное, — ворчливо отозвался Пинегин. Он повернулся к Мациевичу. — Твое мнение, товарищ главный.

Мациевич встал. В кабинете Пинегина церемонии были необязательны, и на более широких совещаниях, чем это, люди говорили и кричали с мест, не просили у Пинегина, а брали слово сами. В этой кажимости беспорядка был свой умный порядок — живое отношение к делу, только его ценил крутой директор комбината. Но Мациевич был церемонным не оттого, что докладывал своему руководителю, — так же он держался на любом совещании с рабочими. Была и еще причина — наступал его час. Если и произойдет перелом на шахте, датой его начала станет этот день. Он обвел холодным взглядом кабинет, подождал, пока не установилась напряженная, странная в этой комнате тишина, — сам Пинегин недовольно кивнул шептавшимся Симаку и Волынскому: ладно, хватит! — только после этого начал. Он передал Пинегину и Волынскому принесенные им сводки и графики, всю многодневную работу Маши, каждую передаваемую бумагу комментировал своими пояснениями. И Пинегин и Волынский с изумлением всматривались в кривые — картина была ясная. Мациевич закончил:

— Я, конечно, вмешиваюсь не в свою сферу — надеюсь, вы простите мне это. В свое оправдание могу указать на то, что нет собрания, где бы товарищ Симак не упрекал меня в вялом ходе переоборудования. Сейчас я льщу себя надеждой, что мне удалось доказать вам самое главное — корень зла у нас не в слабых темпах технической реконструкции, а в плохой постановке разъяснительной работы среди шахтерских масс. — Он повернулся к Симаку, лишь теперь резкие нотки прорвались в его спокойном голосе. — Одно дело — раз в месяц брать на собрании повышенные обязательства, другое — весь месяц гореть желанием выполнить их.

Он сел, высокомерно отвернувшись от Симака. Волынский качал головой и тыкал пальцами в сводку, неопровержимо доказывавшую, что четверть рабочих выполняет по полторы нормы, а половина выше двух третей не поднимается. Симак через плечо Волынского хмуро глядел на ту же сводку. Пинегин обратился к Мациевичу:

— Ты, Владислав Иванович, первый отвечаешь за безопасность шахты. Нас интересует следующее — все ли меры по обеспечению безопасности рабочих у вас приняты? Можешь дать прямую гарантию?

Мациевич снова поднялся. Он говорил твердо и решительно. Он категорически отводил любые сомнения. Да, он ручается — все меры, обеспечивающие безопасность, проведены в жизнь. Страхи, смущающие рабочих, не имеют никаких объективных оснований, именно поэтому он так восстает против того, чтобы придавалось им значение. Переоборудование шахты не закончено только на верхних горизонтах, в районе устья, — метана здесь никогда не бывало, все данные утверждают, что его тут и не будет, ему не прорваться сквозь все эти толщи мерзлых пород. А если метан и прорвется — он, Мациевич, высказывает даже это немыслимое предположение, — то и это не страшно: мощные массы воздуха, вдуваемые в шахту двумя вентиляторами, немедленно снизят концентрацию газа, она в десятки раз будет меньше того, что взрывоопасно. Люди, спускающиеся под землю, гак же гарантированы от несчастья, как и на любой другой шахте комбината, не больше и не меньше того.

Пинегин обратился к Озерову и Симаку:

— Вы, старые горняки, опровергаете вы утверждение своего главного инженера, что объективно шахта вне опасности? Я металлург, я сам не могу проконтролировать это — должен вам верить.

Симак промолчал, Озеров рассудительно заметил:

— Иван Лукьяныч, у тебя имеется заключение горнотехнической инспекции, тебе незачем нам верить — отчет инспекторов совпадает с тем, что докладывал товарищ Мациевич.

Пинегин кивнул Волынскому.

— Ты хочешь, Игорь Васильевич?

Волынский говорил, не поднимаясь с дивана. У него несколько замечаний. Самая главная проблема — решительно и срочно увеличить добычу коксующегося угля. Против подобной необходимости сами горняки не возражают, это хорошо. Что касается остального, то он просто не понимает, из-за чего люди спорят. Обе стороны по-своему правы. Главный инженер гарантирует безопасность подземных работ — великолепно. Парторг требует ускоренного завершения реконструкции — законное требование, ничего против этого не возразишь. А в результате ненужных споров появилось два вредных течения: главный инженер забрасывает реконструкцию, считая ее необязательной, а парторг ослабляет воспитательную работу среди масс, утверждая, что не в ней суть. С этим пора кончать, товарищи. Он, Волынский, имеет претензию к директору комбината — Иван Лукьяныч тоже успокоился, как только закончили аварийные работы по обеспечению безопасности газоносных горизонтов. Начал дело, так кончай — этого правила нельзя забывать. Рассеять необоснованные тревоги рабочих нужно, с этим он полностью согласен, но и пренебрегать тем, что шахтеры тревожатся, не следует. Люди остаются людьми, нужно радикально истребить все поводы для тревоги, быстро этого не сделать, а сделать все равно придется.

Пинегин повеселел, он уже не хмурился — ему нравилась позиция Волынского. Он спросил Симака:

— Ты имеешь что-либо против этого — налаживать дружную работу?

Тот отозвался:

— Нет, конечно. Кто же станет против дружной работы возражать?

Пинегин решил, как всегда, категорически и безапелляционно:

— Давайте примем такое решение. Людей на седьмую шахту подбросим, не столько, как вначале планировали, — у вас, оказывается, имеются солидные внутренние резервы, — но поможем. И окончание реконструкции ускорим — направим рапорт в министерство, чтоб поторопились с присылкой остающегося оборудования. А вы, товарищи, мобилизуйтесь, дальше такое положение нетерпимо. Попрошу, товарищ Озеров, завтра же приготовить проекты рапорта в Москву и приказа по комбинату, обяжем вас официально — перестраиваться.

На этом заседание было закончено. Волынский еще остался у Пинегина, остальные вышли. На улице Озеров посмотрел на ожидавшую их машину и предложил:

— Погода хорошая, светло, ветерка нет, давайте пройдем пешком к подъемнику. Не люблю я этого кружного пути — по горам. Сколько раз проверял: пешком короче.

Они отпустили шофера и пошли по склону горы через территорию обогатительной фабрики. Внизу в дымке морозного тумана лежал город. Озеров сказал, останавливаясь на обрыве:

— Красота какая — настроили домов! А в свое время на этих местах сам я охотился на песцов и куропаток, бил медведя. Невероятная охота была, и за тридцать километров отсюда теперь такой нет.

Симак, как Озеров и Комосов, был страстным охотником. Ему не посчастливилось самому видеть, как к устью первой штольни, заложенной в полярных горах, забирались по ночам медведи, но он с наслаждением слушал рассказы об этих удивительных временах, кончившихся лет десять назад. Он заметил со вздохом:

— Что ты — тридцать километров! Я за пятьдесят забирался — даже там слышны гудки нашей ТЭЦ и самолеты над головой летают. Гусей, конечно, хватает, и песец встречается, а медведь рева мотора не переносит — техника ему противопоказана.

Мациевич не вмешивался в их беседу. Он был равнодушен к охоте. Он шел замкнутый, он был уязвлен. Решение Пинегина ему не понравилось. Несмотря на категоричность внешней формы, оно было дипломатично и двойственно — точь-в-точь такое, какого желал Озеров. Всех обругали и всех оправдали — виновников нет. И потребовали — перестроиться, дружно работать. Ему перестраиваться не нужно — он работает, просто работает, выполняет свои обязанности, никто не осмелится сказать, что он выполняет их плохо. А если кто требует дружной работы, то пусть с ним, с Мациевичем, срабатывается — только так, от этого он не отступится. Мациевич предвидел, что согласия не будет, нажим на него со всех сторон усилится, — он заранее раздражался.

Они не торопились, целый час прошел, пока они добрались до подъемника. Небо уже потемнело, северный зимний день кончился. Они поднялись в стальном вагончике на двухсотметровую высоту и выбрались на площадку. У выхода дежурный по подъемнику кричал по телефону: «Нет их, нет, не проходили! Пошлите машины по разным дорогам — где-нибудь поймают!» Увидев Мациевича — тот шел первым, — дежурный бросил трубку мимо рычага и побежал навстречу. Он был бледен и встревожен.

— Вас ищут! — закричал он. — От Пинегина звонили. На седьмой взрыв, люди погибли!

Потрясенный Озеров вскрикнул, он схватил дежурного за плечи, тут же оставил его и кинулся к телефону, стал отчаянно вызывать шахту. Симак сперва метнулся за Озеровым, потом бросился за Мациевичем. Мациевич бежал по обледенелой скользкой дороге, не разбирая в сумраке уклонов и поворотов. Симак с трудом догнал его и схватил за руку.

— До шахты не добежишь! — крикнул он. — На таком морозе бежать — сердце не выдержит!

Мациевич, обернувшись, молча вырвался. Симак бросил взгляд на его искаженное лицо и не стал больше догонять. В стороне от подъемника стоял грузовик рудника, шофер дремал у руля — он, видимо, ожидал снизу каких-то грузов. Симак влетел в кабину и рванул шофера.

— Живо на седьмую! — распорядился он. — Крой по склону — на шахте несчастье!

Ошеломленный шофер торопливо разворачивал машину в обратную сторону. Озеров вскочил в кабину на ходу, ему пришлось бежать за машиной: Симак даже не услышал его криков. Озеров торопливо сказал:

— Точно ничего не известно, только несчастье крупное. Нижние горизонты отрезаны пламенем, связь не работает. Система вентиляции во многих местах разбита, те, кто и остался в живых, могут ежеминутно погибнуть. Петя, Петя, как же мы это допустили!

Он с отчаянием обхватил голову руками, весь трясся. Симак не повернулся в его сторону, он не отрывался от стекла — впереди, падая на льду, снова поднимаясь, бежал Мациевич. Симак приказал шоферу:

— Затормози, прихватим с собою. — Он, не глядя на Озерова, схватил его за плечо, встряхнул и сердито крикнул: — Ладно, Гавриил Андреевич, возьми себя в руки! Волосы рвать — дело нехитрое, нам людей спасать надо!

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

В это утро Маша пришла на работу раньше всех. Она позвонила Синеву в маркшейдерскую. Он удивился — что случилось? Она ответила, улыбаясь:

— Вы не забыли вашего обещания? Сегодня я спускаюсь в шахту. Сможете вы меня сопровождать?

— Конечно, — заверил он. — Минут через двадцать приду, вы пока подготовьтесь.

Маша стала собирать материал и инструменты, необходимые для наблюдений: секундомер, дощечку, бумагу для дневника, заранее разграфленные и надписанные формы, набор карандашей, линейку и прочие мелочи. Все это в целом составило увесистый пакет, с трудом поместившийся в обычном спортивном чемоданчике. Комосов, забросив свои дела, с усердием помогал Маше укладываться. Его очень заинтересовало начатое ею исследование, он сказал с сожалением:

— Времени нет — закатился бы я с вами, Маша. По-моему, то, что вы задумали, просто здорово: под дедовское шахтерское искусство подводится передовая наука. — Он добавил практично: — И на нас, бухгалтеров, перестанут валить, что мы обсчитываем, — тоже прямая выгода.

Синев появился минут через тридцать. Он озабоченно сказал, когда они выходили:

— Вы понимаете, Маша, я могу только провести вас до места, а там придется иметь дело с Камушкиным. Это его хозяйство, вы не поверите, как он ревниво относится ко всему своему. Лучше бы заранее с ним сговориться, чтоб не вышло скандала.

Маша пожала плечами.

— А какой может быть скандал? У меня прямое предписание Мациевича начать нормативное обследование. И Камушкин и все прочие начальники участков в курсе дела и обещали мне помочь. Об этом даже на планерке говорилось. И самое главное — это ведь сам Камушкин потребовал, чтоб нормы на подземные работы были проверены.

Они прошли на нижний этаж. Здесь, во флигеле их здания, находилась раздевалка, душевая и ламповая. Вход в шахту тоже шел отсюда — здание управления непосредственно упиралось в шахтное устье. Синев провел Машу в раздевалку и сказал:

— Встретимся в ламповой, буду вас ожидать там.

Дежурный гардеробщик выдал Маше резиновые сапоги, брезентовые брюки, спецовку, рукавицы, телогрейку и каску из легкой, но прочной фибры. Каска была старая, она ссохлась от времени и плохо налезала на голову. Маша потеряла терпение и попросила другую, та оказалась еще хуже — каски не были рассчитаны на такую копну волос, как у нее. Маша подошла к зеркалу, висевшему на стене. В зеркале отразилась фигура молодого рабочего. Каска торчала на голове, как уродливый гриб. Маша засмеялась и снова попыталась засунуть под каску вывалившиеся волосы. Потом она пошла в ламповую.

Синев был уже одет и ждал ее. Она с изумлением глядела на него. Он сгибался под тяжестью респиратора — четырехугольного алюминиевого ящика, похожего на большой ранец. В ящике были фильтры и баллоны со сжатым кислородом — от него тянулась массивная, гибкая, как у противогаза, трубка. На конце трубки были зажимы — вставленная в рот, она распирала его и сама не могла выпасть. С таким прибором часами можно было ходить в атмосфере, полностью лишенной кислорода, а воздух, отравленный ядовитыми газами, он очищал своими фильтрами. Вместе с Синевым был его помощник.

— Неужели и мне надевать это страшилище? — ужаснулась Маша. — Тут, наверно, килограммов десять весу.

— Пятнадцать, — поправил Синев. Он успокоил Машу: — Вы пойдете с самоспасателем, хотя и он вам не понадобится. А я сегодня заберусь на короткое время в уголок, где без респиратора трудно.

Он протянул Маше самоспасатель — небольшой ящичек с фильтром, очищавшим воздух от угарного газа — окиси углерода. Синев закрепил самоспасатель у Маши на поясе, с другой стороны пояса подвесил аккумулятор, а лампу привязал к каске. Теперь Маша светила лбом — куда она поворачивала лицо, туда падал сноп света, — ей показалось это забавным, она рассмеялась. Они вышли из ламповой и направились к устью. В проходной занесли в журнал их фамилии и время выхода в шахту, заставили открыть чемоданчик, осведомились, нет ли у них папирос, спичек или зажигалок, и дали расписаться, что с правилами безопасности они ознакомлены.

— Строго у вас, — заметила Маша, когда они разделались с формальностями.

— Строго, — улыбнулся Синев. — Ничего не поделаешь, газовый режим.

Они прошли метров тридцать по узкой галерее, миновали подземную электрическую подстанцию, вышли в широкий ход. Это была просторная подземная улица. Сверху нависали мощные бетонные своды, сотни лампочек дневного света ярко освещали рельсы, кабели на стенах, телефоны, катившиеся вглубь и назад электропоезда. Улица была длинная, на сотни метров вперед тянулись линии лампочек, только где-то в неразличимой дали они превращались в одно неопределенное туманное пятно. Здесь, глубоко под землей, свет был ярче и глубже, чем в полдень на поверхности, охваченной полярным морозом.

— Это наша главная вентиляционная штольня, ее называют еще откаточной, так как по ней направлен грузопоток, — объяснял Синев. — Чаще же мы зовем ее просто свежей струей — наши вентиляторы нагнетают сюда восемь тысяч кубометров свежего воздуха в минуту, отсюда он разносится по всем выработкам. Использованный воздух выбрасывается наружу по второй капитальной штольне, ту называют исходящей струей, или вентиляционной штольней, она пробита параллельно этой. Вообще в нашей шахте самой шахты, то есть вертикального ствола, нет, она вся представляет собой систему штолен, иначе — горизонтальных проходок. Как видите, название у нас неправильное.

По штольне шли люди — кучками, в одиночку. В спину Маше тянул не сильный, но ощутимый ветерок. Когда она повернулась назад, лицу стало холодно — Маша вспомнила, что наверху мороз, воздух нагревался, проносясь через вентиляторную, — там стояли калориферы, — он, видимо, отдавал не все свои морозные градусы. Они проходили мимо дверей и боковых штолен. Синев называл эти места: «главная подземная подстанция», «транспортерный штрек», «вторая печь». Скоро бетонированный участок оборвался, сама штольня стала ниже и уже.

— Здесь кончается район, где еще не проведена реконструкция, — сообщил Синев. — Дальше везде установлено взрывобезопасное оборудование.

— Значит, тут начинается метан? — поинтересовалась Маша.

Синев рассмеялся.

— Что вы! Метан отсюда далеко — на самых нижних горизонтах. В этих местах еще ни разу не наблюдали сколько-нибудь опасной концентрации газа.

Они вступили в обширный подземный район, называемый рудничным двором. Это была территория подземной железнодорожной станции, тут формировались электровозные поезда. Маша увидела, как это делалось. Из черного отверстия в стене высовывался конец транспортера. Транспортерная лента проворачивалась на последнем ролике, уползала назад в отверстие, а с транспортера сыпался, поблескивающий в свете лампочек мокрыми изломами, уголь. Одна вагонетка за другой подходила к транспортеру и становилась под погрузку. Черный от угольной пыли рабочий сидел у щита с аппаратурой управления и останавливал транспортер, когда вагонеток не было. В стороне чернели бункера, заполненные углем, погрузка вагонеток шла также из них. Все это напоминало скорей цех завода, чем шахту, — со всех сторон слышались грохот, звонки, лязг металла.

— Пойдемте дальше, — сказал Синев засмотревшейся Маше.

Еще ряд проходов ответвлялся от рудничного двора во все стороны веером, в них уже не было ни ламп дневного света, ни обыкновенных ламп, они спускались вниз пологим уклоном. Маша и Синев углубились в один из них. Синев назвал его четвертым транспортерным штреком. Вступая в него, Маша сказала Синеву:

— Прежде чем приступить к работе, я хочу увидеть места, где выделяется метан. Не прощу себе, если не познакомлюсь с этим газом.

— Метан я вам продемонстрирую, — пообещал Синев.

Транспортерный штрек на три четверти был заполнен транспортером, оставался лишь узкий проход у стены — два человека могли пройти по этому проходу, только став друг к другу грудью. Синев двигался осторожно и медленно — неровная почва была усеяна выбоинами. Мимо них проползала резиновая лента в метр шириной, нагруженная углем. Далеко внизу колебались два снопика света — впереди них шли люди. Маша спотыкалась и ударялась боками то о стену, то о ролики транспортера, то о жесткую резиновую ленту. Один раз она, не удержавшись, вцепилась в респиратор Синева. Синев с тревогой спросил, не ушиблась ли она.

— Нет, нет, — ответила она. — Мне очень интересно.

Ей нравилась эта прогулка. Она вдруг обнаружила, что перестала бояться подземелья. Но чем больше они углублялись под землю, тем меньше шахта напоминала завод. Теперь и эта огромная современная шахта становилась похожей на ту старенькую и отсталую, на которой Маша провела несколько месяцев практики, — это были низенькие темные коридоры и дыры, куда надо пробираться ползком, уже несколько раз им попадались такие узкие земляные трубы — иначе их назвать было нельзя, — человек мог влезть в них только на коленях.

Транспортерный штрек вдруг оборвался, снова они вышли в просторный туннель. Навстречу им шел поезд из вагонеток, груженных углем, его тащил электровоз. Маша встала спиной к стене, чтобы ее не задело.

— Взрывобезопасный аккумуляторный электровоз, — объяснил Синев. — Видите, он не похож на те, что мы видели раньше, — те на троллеях.

Какой-то человек, быстро и уверенно шагая, шел прямо на них. Сильный сноп света от его лампочки упал Маше на глаза, ослепив ее на мгновение.

Это был Камушкин. Синев сказал:

— Здравствуй, Павел, хорошо, что не разошлись. Вот привел к тебе товарища Скворцову, покажи ей, где надо работать.

Теперь Маша, направив свет на Камушкина, видела его лицо. Камушкин улыбался.

— Выбрались, наконец, — сказал он одобрительно. — А я уже боялся, что у вас полное отвращение к штрекам и штольням. Лучше всего, конечно, начать с проходчиков, а потом перейти к забойщикам и навальщикам. Не возражаете, если я проведу вас в бригаду Ржавого, Мария Павловна?

Маша не виделась с Камушкиным с того времени, как он увязался ее провожать, и с некоторой тревогой ожидала новой встречи. «Опять скажет или сделает какую-нибудь грубость — посажу его на место!» — мстительно думала она. С облегчением Маша убедилась, что урок пошел Камушкину впрок, он даже назвал ее впервые Марией Павловной, а не просто девушкой или Машей — она не могла этого не отметить.

— Спасибо, Павел Николаевич, — сказала она. — Ржавый меня интересует больше всех, у него самая высокая выработка. У меня еще одна просьба — покажите мне выделение рудничного газа. Столько о нем говорят, а я еще ни разу не видела.

— Это можно, — согласился Камушкин. — Но придется побродить в темноте. Не возражаете?

— Что вы, я не устала! — поспешила сказать Маша.

Сейчас впереди шагал Камушкин, Маша с Синевым и его помощником еле поспевали за ним. Синев шепнул: — Ведет в третий уклон — самое страшное место по газу.

Маша скоро заметила, что стало теплее и воздух не так чист — холодная свежая струя сюда, видимо, добиралась с трудом. Резко запахло сырым и затхлым подземельем. Они шли долго, все время спускались вниз, потом Камушкин замедлил шаги, стал двигаться осторожно, свет его лампочки шарил по земле и ощупывал стены, как рука. Третий уклон был немного шире, чем другие проходы. Смонтированный здесь транспортер не работал, людей также не было видно. Зато здесь было свежее — сильная струя воздуха омывала проход. Камушкин, упершись светом в низ стены, сказал небрежно:

— Можете любоваться — суфляр!

Маша знала, что суфлярами называются струи рудничного газа, выбивающегося из земли, небольшие газовые фонтанчики. Они с Синевым наклонились, световые конусы их лампочек пересеклись на стенке. Из стены вырывался под давлением поток метана, издали было слышно тонкое посвистывание и шипение газовой струи; руке, протянутой к суфляру, сразу становилось холодно. Чистый метан — газ без запаха и цвета; этот, видимо, не был чистым: от суфляра отчетливо истекал запах гнили и плесени. И еще одно ощутила Маша: внизу сразу стало тяжелее дышать, в воздухе, наполненном метаном, не хватало кислорода.

Камушкин сообщил:

— Это один из десятка суфляров на нашей шахте, он интересен тем, что самый большой по дебиту. Скоро мы его направим по трубе наверх, в нашей же котельной сожжем. А пока, ничего не попишешь, прекратили около него все работы и пробили из уклона прямой ход на отходящую струю — выбрасываем наружу, не даем распространяться по шахте. Безопасность это обеспечивает.

Маша не отрывала взгляда от суфляра, даже опустилась на колено и водила рукой по стене, чтобы ощутить силу, с которой струю выхлестывало из земли. Она спросила:

— А на сколько все это взрывоопасно?

Камушкин ответил:

— Газ может взорваться, когда его от пяти до двадцати процентов. Зажгите в этом месте спичку — вмиг перенесетесь в гости к прабабушке. Для любителя самоубийства трудно найти более удобный способ.

Он говорил с гордостью, он словно хвастался, что в его подземных владениях есть такое грозное местечко. Маша поспешно встала. Камушкин пошел вперед. Теперь они поднимались вверх по вентиляционному проходу. Маше объяснили, что такие вентиляционные ходы называются «печами»: название дано из-за тяги, в ином подземном ходе гудит, как в настоящей печке.

Вентиляционная печь выходила в широкую, освещенную лампами штольню — обратную струю.

— Все, — сказал Камушкин. — Здесь газа у нас — десятые доли процента. Страхи и ужасы показаны, можете поблагодарить за представление и приступить к делу. Если не возражаете, поднимемся немного выше, бригада Ржавого работает в другом месте.

— Мне надо на восточный участок, — сказал Синев. — Я зайду к вам перед концом смены, Маша.

— Обязательно заходите, — попросила Маша. — Мне одной страшно выбираться.

Синев и Камушкин засмеялись. Синев сказал, продолжая улыбаться:

— Ну, одной возвращаться вам не придется. Здесь нет ходка, где бы ни работали люди, все они пойдут с вами. Вот только нам придется побродить в глухих углах сегодня.

Камушкин заметил, кивнув светом на респиратор:

— Вот отчего химическую фабрику навесили на плечи. Редкий случай — увидеть тебя с этим грузом.

Он пропустил Синева вперед. Синев с помощником свернули в первый же боковой ход. Теперь Маша шла вдвоем с Камушкиным по узкому и низкому проходу с неровным полом. Ни впереди, ни сзади не было ничего видно. Маша подумала, что если в этом безмерно низком погребе заблудиться, никто не увидит и не услышит, даже эха не будет. На минуту ею овладело беспокойство, она невольно заспешила, догоняя Камушкина. От торопливости она стала спотыкаться. Камушкин, не оборачиваясь, быстро шел впереди.

— Пожалуйста, немного потише, — попросила она. — Я запыхалась от такого бега.

Он пошел медленнее.

— Расскажите мне, куда мы идем, — продолжала она. — Что это за место, где работает Ржавый?

Камушкин объяснил, что бурильщики Ржавого заняты на проходке нового штрека. На этом участке особенно плохо с выполнением норм, рабочие с неохотой идут сюда.

Через минуту Камушкин сказал:

— Ну, пришли, вот она — бригада Ржавого.

2

Узкий штрек сменился уклоном, широким, как откаточная штольня. В конце его открылись места разработок. С разных сторон вспыхивали лампы, слышалось стрекотание сверл, в стенах виднелись боковые ходы. Несколько бурильщиков забуривали шпуры. Освещая место работы лампочками, прикрепленными к козырьку касок, бурильщики наваливались телами на длинные сверла, с тонким скрежетом углублявшиеся в породу. Среди бурильщиков Маша узнала рослого Ржавого, он работал размеренно и четко, что-то насвистывая. И уверенные его движения, и непрерывный звучный визг сверла, и самая песенка производила странное в этом подземелье впечатление бодрости и ясности.

— Здравствуйте, Василий Аверьянович! — громко сказала Маша. Ржавый оторвался от бура. Он скинул рукавицу, пожал Маше руку, свет её лампы падал на его перепачканное пылью смеющееся лицо.

— Проверка на тебя идет, Василий, — внушительно и насмешливо сказал Камушкин. — Мария Павловна по секундомеру установит, чего ты стоишь и нельзя ли тебя еще немного подогнать.

Маша резко обернулась к Камушкину. И самый тон его, и смысл его предупреждения Ржавому были недопустимы. Камушкина следовало немедленно опровергнуть. «Разыгрывает перед рабочими роль их защитника!» — с возмущением подумала Маша. Ржавый, заговорив, не дал ей высказаться.

— Правильно, надо проверить, — сказал он с доброй улыбкой. — Дело наше открытое, а со стороны всегда виднее, что к чему. Ты как же, Маша, сейчас начнешь?

— Сегодня я главным образом буду присматриваться, — сообщила Маша. — Надо мне предварительно ознакомиться с приемами вашей работы. А завтра приду вместе с вами и сниму полный хронометраж процесса от первого вашего движения до последнего. — Она попросила: — Дайте мне для начала поработать буром.

— Это можно, — согласился рабочий. — Становись на мое место.

Маша, напрягая тело, старалась всей силой давить на рукоятку бура, но струйка пыли и камешков, сочившаяся из отверстия, сразу оскудела, тонкий звук превратился в высокий неприятный скрежет, похожий на тот, что издает нож, царапающий тарелку. Через несколько минут у Маши заныли плечи, стало ломить руки. Раздосадованная и сконфуженная, она оставила бур.

— Девушкам наша работа непосильна, — утешал ее Ржавый, погружая бур в породу. Но она не могла успокоиться — она ощущала, не поворачиваясь, иронический, взгляд молчавшего Камушкина, ей было обидно, что он видел ее неудачу. Она сухо сказала, раскладывая чемоданчик и вытаскивая бумагу и карандаш:

— Спасибо, Павел Николаевич, теперь я справлюсь сама.

После ухода Камушкина она погрузилась в свою работу. Она записывала все, что делал Ржавый, каждую операцию и движение, отмечала примерную длительность, движения, его результаты. Ей сразу показалось, что Ржавый не торопится, при желании можно было и быстрей работать. Она усмехнулась — так было всегда, когда около рабочего появлялся хронометражист. Запись хронометражиста рано или поздно превращается в закон, становится обязательной нормой, никакой мастер, даже гордящийся своей исключительностью, не пожелает, чтобы ему предписали в качестве его каждодневного рядового задания то, что составляет максимум его возможностей, плод его нелегко добытого умения или трудового подвига... Она утешила себя обычным утешением всякого нормировщика — ничего, внесу поправки на замедление. Потом она обнаружила, что ей холодно. Она была одета тепло, в зимнюю шахтерскую одежду, но все более зябла.

— Морозно у вас, — пожаловалась она, передергивая; плечами.

— Морозно, — согласился Ржавый. — Вечная мерзлота, Маша. Ниже потеплее, там мерзлота кончается, а выше еще хуже. От этого и трудности, на каждом горизонте по-другому работается.

Маша подошла к забуриваемой стенке, осветила ее лампочкой. Это были песчаники, скованные вечным морозом. Их наносило в этом районе миллионы лет, потом климат изменился, грянули холода, вот так они и стоят с тех пор — застывшие, твердые, неподвижные. Маша отошла в сторону, лампочка выхватила из стены прожилки диабаза, прожилки затем превратились в линзы, далее потянулась целая диабазовая стена, рассекшая мерзлоту. Эта стена дышала тем же доисторическим мертвым холодом. Маша размышляла, новые важные мысли являлись ей, она торопилась все продумать. На все уже есть нормы — и на диабаз, и на наносные грунты, и на уголь, но на мороз, оледенивший все это, у нее норм нет, тут начинается неизведанная область. Правда, имеется и такой раздел — вечная мерзлота, на ее разработку устанавливается особая норма. Но под ней понимается просто мерзлый грунт, а она, мерзлота эта, бесконечно разнообразна — мерзлый нанос совсем не то, что ледяной диабаз или песчаник, совсем по иному нужно каждый из них разрабатывать.

Пока она размышляла об этом, снова появился Камушкин и предложил убираться — сейчас здесь начнется закладка запалов в шпуры, взрывники уже ждут.

— Это меня тоже интересует, — сказала Маша. — На днях я специально займусь этим. А пока я хотела бы только посмотреть.

Камушкин несколько секунд колебался.

— Скоро произведут отпалку ранее заложенных зарядов, — сообщил он. — Пройдемте в семнадцатый квершлаг, там находятся отпальщики, посидите около них... — Он добавил с прорвавшимся раздражением: — Вообще не люблю я, когда посторонние находятся на участке во время отпалки.

Маша обиделась.

— Я не посторонняя, а работник шахты, — возразила она. И мне все равно, что вы любите, а что нет. Напоминаю вам также, что именно вы требовали моего выхода в шахту, я только выполняю это ваше желание.

Он сердито молчал. Она еле поспевала за ним.

После их ухода Ржавого окружили несколько бросивших работу бурильщиков: они интересовались, что делала здесь Маша. Один из бурильщиков, широкоплечий пожилой мастер с худым лицом и злыми глазами недовольно сказал:

— Новое придумали — нормировочку! Наш главный спит и видит во сне, где бы еще ужать. Покоя ему не дают наши заработки. Для того и инженершу нашу прислал — рационализировать зарплату процентов на двадцать. Дешевого уголька добивается — за такое дело его и в приказе, может, отметят...

— Ну, тебя не рационализируешь, Гриценко! — возразил второй бурильщик, невысокий и плотный, со спокойной речью и веселыми глазами. — После всех ужатий все равно в два раза больше той же инженерши получишь. Ты, да Ржавый, да начальник шахты — самые наши кулаки, больше вас никто не зарабатывает. А насчет дешевого уголька ты напрасно, сам знаешь, что он у нас, на севере, в золотую копеечку вскакивает. По-моему, правильно, что за это дело берутся.

— Весь вопрос, как берутся! — закричал Гриценко. — Ты мои заработки не трожь, я их не за столом добивался, не дипломом, а руками беру — двадцать восемь лет в шахте!.. И сто инженеров посади — один половины того не сделает, что я. Им дипломы, а мне орден дали — вот оно как оборачивается, это понимать надо.

— Понесли! — миролюбиво сказал Ржавый. — Где только Харитонов с Гриценко сойдутся, сразу лайка. Ты скажи, чего хочешь, Гриценко?

Но Гриценко продолжал возмущаться.

— Дешевый уголек! — бормотал он. — Механизацию заканчивай, производительные механизмы вводи — вот тебе и подешевеет. А нормы новые — это ужимка зарплаты, дело это не пойдет. Слушай, Василий, — сказал он немного успокоившись. — Неправильно, что она к тебе прикреплена. Никакой рабочий под тебя не вытянет, сам знаешь. И чего Павел Николаевич смотрит, удивляюсь! Мастера нужно ей подобрать хорошего, только среднего, чтобы и отсталых не зарезать непосильной нормой. Вот, к примеру, возьмем Харитонова — очень способно на его выработку равняться.

Он метнул злобный взгляд на Харитонова. Харитонов усмехнулся.

— Ладно, давайте мне, — согласился он. — За вами, конечно, не угонюсь, но что знаю и умею, честно ей покажу.

3

Семнадцатый квершлаг был такой же подземный ход, как и все другие, он был проложен в толще пустых пород, разделявших угольные пласты. Может, только то его отличало, что воздух в нем был сырой и застойный, как в погребе, — квершлаг, видимо, плохо вентилировался. Здесь также большую часть пространства занимал транспортер, исчезавший в темноте. У транспортера сидел пожилой рабочий, почти старик, у ног его стоял небольшой прибор. Около старика поместился молодой веселый парень, даже в темноте блестели его зубы, он все время улыбался. Маша осветила лампочкой парня и узнала его, это был один из тех двоих, что приходили с Камушкиным в бухгалтерию. Он обрадованно поздоровался с ней, как со знакомой, она подала ему руку.

— Семеныч, — сказал Камушкин старику, — покажешь нашему инженеру-нормировщику, Марии Павловне, что у тебя к чему. Она кое-что на карандаш возьмет, ты не смущайся.

— Все покажу, — пообещал старик. — Иди спокойно, Павел. Раньше, как через час, не начнем, будем ждать сигнала.

— А вы будьте благоразумны, — сказал Камушкин Маше. — Двигаться по подземным ходам в районе отпалки запрещено, придется вам сидеть и ждать, пока я не вернусь. Можете рассматривать это, как официальное распоряжение.

Обида у Маши еще не прошла. Она ничего не ответила, только кивнула головой и отвернулась.

— Шахтерским делом интересуешься, Маша! — одобрительно сказал старый рабочий. — Стоящее оно дело, шахтерское. Многие побаиваются, а я рассуждаю — нет лучше этой специальности. Как по-твоему, Серега?

Ему хотелось поговорить. Он поворачивался то к Маше, то к своему товарищу. Свет его лампочки описывал причудливую кривую, на стенах квершлага вспыхивали льдинки инея, черным блеском отсвечивала дверка пускателя.

— Почему у вас так душно? — спросила Маша. — Трудно здесь долгое время высидеть.

— Кто ж его знает? — охотно ответил старик. — Всегда здесь застойно, сегодня, однако, хуже. Земля, девонька, она крепкого духа. Ничего, от земли не заболевают — сороковой год под землей кручусь, даже ревматизма не нажил.

Он заметил, что Маша с интересом рассматривает ящичек, стоявший у его ног. Он стал рассказывать, как они производят отпалку. Раньше это было совсем просто: от зарядов, заложенных в буровые отверстия, тянулись шнуры, их поджигали спичками, отбегали и ждали взрыва.

Штука эта называлась огневым палением. Теперь так нельзя: в шахте появился опасный газ. Вот он на старости лет освоил новую конструкцию взрывмашинки; специальный это приборчик, от него идут провода к зарядам, нажмешь пусковой механизм, и готово — где-то летят глыбы породы и угля. И главное, никакой искры, никакой опасности, в самом проклятом месте сиди и распоряжайся — ничего, тебе не угрожает.

— Командный механизм, — сказал старик с гордостью.

Маша вынула свой дневник и аккуратно занесла в него, что увидела. Старик поинтересовался, что она пишет и почему смотрит на часы и секундомер. Она объяснила, что отмечает их простои, время ожидания следующей операции.

— Правильно записываешь, — сказал старик дружелюбно. — Так и надо, работа наша такая — невозможно без ожидания.

Молодой рабочий оказался не таким спокойным, как старик. Под внимательным взглядом Маши он стал нервничать. Слово «простой» всегда звучит осуждающе, даже если простаивать приходится по необходимости. Он вскочил.

— Семеныч, я начну потихоньку прилаживать, — сказал он.

— Прилаживай, — отозвался старик. — Прилаживай пока, Серега.

Рабочий скрылся в темноте и вынырнул из нее, таща два тонких провода. Он держал их еще в руках, концы их, освещенные светом его лампочки, ярко блестели. Маша сделала запись в дневнике: «После продолжительного простоя отпальщик вдруг заторопился...» и подняла голову, чтоб посмотреть, что же он делает и как точнее назвать его операцию. И то, что произошло в этот момент, отпечаталось в памяти Маши с такой страшной отчетливостью, словно она всматривалась в эту картину долгие годы. Мощное голубоватое пламя широким факелом охватило отпальщика. Крик, вырвавшийся из его страшно распахнутого рта, был так пронзителен, что он на мгновение заглушил грохот начавшего расширяться и греметь пламени. А затем — тоже на какие-то доли секунды — все звуки были покрыты шумом метнувшегося по квершлагу пламени, он показался Маше шелестом ветра в ветвях, достигшим силы громового удара. Пламя ослепительно заполнило верхнюю часть квершлага, ударило Машу нижней своей частью — пластом раскаленного воздуха — и умчалось в сторону свежей струи. Где-то посередине квершлага произошел взрыв — голубое сияние достигло ужасающей яркости, и возвратившаяся обратно взрывная волна мощно обрушилась на стены.

Маша упала на стену, обожженная и разбитая упругим ударом пламени, и видела, лежа на спине и не имея сил подняться, как устоявший на ногах отпальщик сдирал с себя пылающую одежду. Взрывная волна подхватила его и бросила на стену квершлага. Маша видела в еще не погасшем сиянии, как внезапно сплющилось в блин прижатое волной к крепи тело отпальщика, как оно так же внезапно распухло и возвратилось в прежнее положение и — уже безжизненное — рухнуло вниз. Огромный, мощный грохот, непереносимый и мучительный, как гигантский поток воды, обрушившийся с высоты, ударил по всему телу Маши, наполнял и разрывал уши. А когда грохот иссяк и стали постепенно вновь слышны обычные мелкие звуки, кругом было непроглядно темно и душно, как в истопленной печи.

Маша попробовала встать и не могла — она не чувствовала ног. Ей показалось, что ноги ее оторваны. Она с усилием протянула руку, с усилием приподняла туловище — ноги были на месте. Но это были словно чужие ноги, она трогала их и не ощущала. Внезапно обессилев, теряя сознание, она уронила голову на камень пола. Она не знала, сколько времени так пролежала. С первыми проблесками сознания явилась мысль, что рука ее лежит в крови. Преодолевая слабость, она убрала руку, а еще через некоторое время сообразила, что это не кровь, а щелочь, вылившаяся из разбитого аккумулятора. Только сейчас она представила себе ясно чудовищную силу удара, бросившего ее на землю и разбившего стальную банку аккумулятора. Маша вскрикнула, позвала слабым голосом на помощь, прислушалась — никто ей не ответил, даже эхо не прозвучало в этом мрачном подземелье. Она поняла, что и мастер и отпальщик мертвы, где-то рядом, в кромешной темноте, простерты их безжизненные тела. Но она была жива, она снова схватилась за свои ноги, на этот раз ощутила прикосновение — жизнь возвращалась в них. Она пыталась встать и упала, ноги не держали ее, каждое движение рождало резкую боль внутри тела. Она стонала, глотала слезы, пыталась приподняться, уцепившись в темноте за ленту транспортера, потом опять свалилась и лежала, обессилевшая, хватая ртом воздух. И тут она вскоре почувствовала, что внизу мало воздуха, — она отдыхала лежа, к ней возвращались силы, а дышать становилось все труднее.

Ужас овладел ею, она поняла, что погибает, она вспомнила, что взрыв метана израсходовал имевшийся в воздухе кислород, вместо него теперь появилась углекислота, может быть даже самое страшное — окись углерода, зловещий угарный газ, один из сильнейших ядов. Она успокаивала себя — нет, удушье должно было наступить сразу же после взрыва, а оно не наступило, она дышала, хотя и с усилием, кислород есть — взрыв выбросил из короткого квершлага все образовавшиеся ядовитые газы, в созданное разрежение ринулась свежая струя, пополняя исчезающий кислород. Однако дышать становилось все труднее, воздух словно исчезал, он становился мертвым и ненасыщающим. Она вспомнила о самоспасателе — он выручит ее, она отгородится его фильтрами от сгущающихся в квершлаге газов. В страшном смятении она искала самоспасатель у себя на поясе, шарила руками по земле. Пальцы ее нащупали остатки разбитой коробки. Тогда она громко и пронзительно закричала, на этот раз эхо возвратило ей крик — в стенах что-то загрохотало, завизжало. Маша уронила голову, ей показалось, что она проваливается в мутную болотную воду, она билась на земле, пытаясь встать. Она знала, что удушья не избежать, и задыхалась раньше, чем удушье наступило.

Ей удалось перевернуться со спины на живот. Страх и жажда жизни толкали ее вперед, тащили ее, словно чужая могучая рука. Маша вдруг забыла о боли и бессилии. Она не сумела подняться и поползла на коленях к выходу. Опираясь на руки, она хваталась за каждый бугорок, впивалась в ямки. Никогда она не догадывалась, что столько силы таилось в ее слабых руках, неистово и отчаянно они тянули ее отяжелевшее тело все ближе к выходу, к спасительной свежей струе, пролетавшей со скоростью ветра всего в сотне метров от нее. С каждым рывком избавление от гибели делалось реальнее, Маше почудилось даже, что стало легче дышать. Это было обманчивое чувство, ей пришлось тут же в этом убедиться. Воздуху не хватало все больше, теперь это было уже настоящее, а не воображаемое удушье. В голове у Маши тяжело и гулко шумело, как в створке большой раковины, перед глазами прыгали разноцветные искорки, сердце, казалось, выросло, заполнило всю грудь и, как постороннее большое тело, тяжело билось о ребра, дыхание становилось коротким, торопливым и всхлипывающим. Маша уже не дышала, а судорожно разевала рот, не прикрывая его, как выброшенная на воздух рыба, — она жадно ловила вспухшими губами нагретый воздух, почти лишенный кислорода. Утраченное чувство боли вернулось с удвоенной остротой — все внутренности ее кололо и резало. При резких движениях боль становилась непереносимой. Маша понимала, что тяжело ранена, — ей нужно было лежать, не двигаясь. Но движение означало жизнь, спасение было неподалеку. И она, напрягаясь, содрогаясь от боли, испуская жалкие, не слышные ей самой стоны, отчаянно ползла — с каждой минутой все медленнее — к свежей струе. Она звала на помощь, молила с рыданием: «Спасите меня! Спасите меня!» — она не знала, были ли это вправду крики или только мысли — полубезумные, смятенные, похожие на вопли мысли.

И это страстное стремление вырваться было так огромно, что, уже не имея сил проползти шаг вперед, она все еще думала, что продолжает свой путь к спасению. Маша лежала на земле, ее голова медленно и устало приподнималась и падала, она делала бессильные, скользящие движения руками, раскидывала их по земле, как в воде, — ей представлялось, что это именно то, что следует делать. Задыхаясь, слабо втягивая частыми вдохами ненасыщающий воздух, она тихо плакала. Потом она опрокинулась на спину и судорожно водила над собой руками, пытаясь захватить ладонями воздух, которого уже не было.

И когда на ее закрывшиеся от мучения веки упал резкий сноп света, а живительный кислород пронзительно-чистой струей ворвался в ее распахнутый рот, она не сразу поняла, что с ней происходит. Не раскрывая век, жалко всхлипывая, захлебываясь от избытка воздуха, она сперва слабо, затем все более жадно пила и глотала его, пьянея и возрождаясь. С усилием, медленно Маша приоткрыла глаза — ей казалось, что она бездну времени тянула отяжелевшие веки вверх. А потом еще долго, долго всматривалась она в лицо человека, наклонившегося над ней, сжимавшего пальцами ее ноздри, чтоб заставить дышать только ртом. Трубка, распиравшая ее губы, была открыта на максимум, из нее легким ветром вылетала живительная струя. Тяжелый ящик респиратора висел на спине человека — плохо закрепленный, он сваливался на его голову, придавливал ее вниз. «Откуда у него респиратор, он же не брал его?» — думала Маша, водя глазами по лицу этого человека. Лицо его было плохо видно, свет фонарика падал на землю, только отраженные блики сумрачно и неясно играли на щеках. Но глаза его нестерпимо блестели на черном лице. И первой подлинно сознательной мыслью Маши было понимание того, что никогда в будущей своей жизни — ни в минуты счастья, ни в горе, ни в болезни, ни в старости, стирающей в серое пятно все пережитое, — она не забудет, не посмеет забыть выражения этих глаз.

4

Взрыв настиг Синева недалеко от семнадцатого квершлага. Синев, отпустив помощника, возвращался обратно после обследования заброшенных выработок. Пламя ослепительно вырвалось на свежую струю и ринулось вниз, в метаноносные горизонты. Если бы оно пронеслось, накрыв Синева, еще метров двести, пришел бы конец и ему и шахте. Мощный поток морозного воздуха сразу сбил пламя, оно вытягивалось в струю, крутилось и гасло — только огненный клубок несся по штольне. Отчаянно закричав, Синев бросился бежать, он слышал за спиной громовой шелест летящего за ним огня. Воздушная волна ударила Синева в спину, бросила на землю и тащила по земле, обдирая его лицо о породу и уголь.

Потом наступила душная грозная тишина.

Синев вскочил на ноги, в смятении и ужасе ощупывал себя. Он был цел, даже респиратор не разбился, только лампочка разлетелась вдребезги. Синев прислонился к стене, трясущиеся ноги плохо держали его тело. Он напряженно всматривался в темноту, жадно слушал ее. Издалека, через многометровые толщи пород, доносились глухие удары и содрогание, это могло означать только одно — взрыв, иссякнувший на свежей струе, повторялся в других штреках и печах, он распространялся по всем верхним выработкам: в шахте начинались пожары. Что это так, показывала сама свежая струя — она была насыщена углекислотой, в ней было совсем мало кислорода.

Синев нащупал трясущимися руками трубку респиратора и вставил ее в рот, торопливо поворачивая запорные кольца, — прибор исправно работал, он гнал спасительный кислород в легкие. Теперь Синев боялся только нового взрыва и пожаров, газы были уже не страшны. После секундного колебания он кинулся наверх, к выходу из шахты, к первому уцелевшему телефону — сообщить о катастрофе, вызвать спасателей. Он вспомнил о Маше, она ждала его внизу, в самом опасном районе шахты. В отчаянии он выругался, потом успокоился: она с людьми Ржавого — побегут спасаться, ее не оставят. Он лихорадочно старался представить себе, что произошло. Около семнадцатого квершлага он замедлил бег. Навстречу ему стремился поток раскаленного воздуха. Синев понял, что где-то тут недалеко зона пожара. Новый приступ страха охватил его. В изнеможении Синев схватился трясущейся рукой за стену, пальцы его оперлись не на привычный лед вечной мерзлоты, а на теплый камень, горячая влага струилась по нему. Синев вырвал трубку изо рта, громко закричал. Никто не ответил ему, только где-то грохотали и трясли землю бешеные воздушные потоки. Теперь он понял весь ужас катастрофы: шахта отрезана от устья поясом распространяющихся по главному ходу пожаров, рано или поздно он погибнет со своим исчерпанным до дна респиратором на этих проклятых нижних горизонтах — он в мышеловке. Он хотел кинуться дальше, навстречу пожару, пробиться сквозь него — это был самый вероятный и скорый путь наружу. Но у него не хватило воли преодолеть страх. Он повернулся и побежал вниз. У него остался еще один неверный шанс, он торопился использовать его. Никто не знал так детально шахты, как Синев, это была его специальность — знать все подземные выработки и пути. Пожары не могли пойти далеко. Если он проберется нижними штреками и уклонами, он сумеет выбраться на свежую струю выше пожаров, тогда он будем спасен.

Теперь он бежал в места, где больше всего было рудничного газа, где вероятнее всего были новые взрывы, — через эти опасные горизонты пролегал оставшийся путь к спасению. Вскоре впереди заметались полосы света. Со всех сторон на свежую струю бежали люди, и всех их, как и Синева, поражало ощущение удушья, создаваемое этой струей. Синев слышал возгласы и крики, задыхающиеся голоса рабочих, звавших один другого, он видел, что все по инстинкту бежали, как и он в первый момент, навстречу отравленному воздуху, к прямому выходу. Но ни один из них не добежал до Синева. На развилке штольни, уклонов и печи стоял человек и, задыхаясь от недостатка воздуха, перехватывал всех бежавших по штольне рабочих и направлял их в уклон.

— В гезенк! — кричал он хрипло и, освещая фонарем лица бежавших, вслух пересчитывал их. Это был Ржавый. — Ты, Харитонов? Ты, Гриценко? — говорил он. — Один Полищук остался. Где Полищук, товарищи? Вот люди — ни за грош пропадет! Тридцать пять человек, еще Полищука нет!

Синев подбежал к Ржавому и схватил его за руку. В смятении он забыл вытащить трубку изо рта и не мог говорить. Ржавый осветил его лицо, крикнул изумленно:

— Ты здесь, Алексей? Вот беда, скажи на милость, какой взрыв! Иди в гезенк, Синев, здесь оставаться нельзя.

Он в волнении не видел, что Синев с респиратором. Синев прохрипел:

— Скворцова — она с вами?

— Скворцова в семнадцатом квершлаге! — крикнул Ржавый, отворачиваясь от Синева и шаря лампочкой в темноте. — Камушкин увел ее туда — переждать отпалку. Не стой здесь, слышишь?

Синев не мог сделать и шагу. У него снова подогнулись ноги Он в ужасе закрыл глаза, схватил лицо руками. Пламя вырвалось именно из семнадцатого квершлага, там теперь бушуют пожары и распространяется углекислота. И там — Маша, может быть, она жива, ожидает помощи! И он, он был там, не дошел всего нескольких шагов, это было минуты три назад, он мог спасти ее, если она еще жива! Но он вспомнил, как кричал и никто ему не отозвался, каким раскаленным воздухом ударило ему в лицо, — нет, ничто не может уже спасти Машу, если она там, она раздавлена и сожжена!

Он содрогнулся, представив себе, что снова пробирается туда и сам попадает в новый взрыв — несчастье в шахте редко бывает одно.

Ржавый в ярости повернулся к нему.

— Иди же, дура! — крикнул он. — Сколько тебе говорить?

Синев с трудом повернулся, и поплелся в гезенк. Он не понимал, что делает, что нужно делать, он исполнял приказание, хотя оно было нелепо: он был снабжен автоматическим прибором. Луч лампочки Ржавого осветил висевший у него на спине респиратор. Ржавый метнулся к Синеву и с силой схватил его за плечо. Ошеломленный Синев даже не вырывался.

— Правильно, нельзя тебе в гезенк! — сказал Ржавый возбужденно. — Иди к устью, ты проберешься через все загазованные места. Слушай, Синев, расскажешь там, что всех направляю в гезенк. Тридцать пять человек ушло, нет еще одного. Воздуху нам хватит часа на три-четыре, не больше. Беги, Алеша, беги и остерегайся пятого и шестого штреков, боюсь, пожары перекинулись туда. Беги, Алеша! На, возьми! — Он сорвал со своей каски лампочку, сунул ее вместе с аккумулятором в руки Синева и крикнул нетерпеливо: — Да беги же, чего стоишь!

Синев побежал, слыша за своей спиной последние возгласы Ржавого:

— Кто идет? Ты, Полищук? Вот, черт, одного тебя не хватало! Скорей в гезенк!

Синев бежал сперва медленно, потом все быстрее, ему удалось наконец взять себя в руки. Он спасал уже не только свою жизнь, но и оставшихся внизу людей, нужно было обязательно сообщить, где их искать. Сейчас пробираться было легко, массивная взрывобезопасная лампочка давала достаточно света. Отбежав от Ржавого, Синев остановился, подвесил аккумулятор к поясу, а лампочку закрепил на каске. Он торопился, он понимал, что ему отпущено мало времени, — вентиляторы продолжают работать, огонь, возможно, разносится в новые выработки. Однако огня пока не встречалось. Зато он слышал запах гари. Он еще плохо приспособился к дыханию ртом и в спешке бега часто захватывал воздух носом. Ему казалось, что осуществляются самые мрачные его опасения — воздух был плох. Больше всего он страшился угарного газа, можно было попасть в мешок, наполненный этим газом. Такие мешки легко образовывались при пожарах и обвалах. Мимо шестого штрека он промчался стрелой, зажимая нос руками, — если где и таилась опасность, то здесь ее должно было быть всего больше. На него пахнуло жаром, похоже, что очаг пожара в шестом штреке действительно был. Еще быстрее Синев промчался мимо пятого штрека. Он так торопился, что не увидел летевшего ему навстречу человека, они столкнулись и обхватили один другого руками.

— Алексей! — крикнул человек. Синев узнал Камушкина.

Радость бурно охватила Синева. Он глядел не на лицо Камушкина, а на его пояс — там болтался самоспасатель, Камушкин дышал без прибора. Синев вырвал конец респиратора изо рта, забыл на мгновение обо всем остальном — спасен, спасен, вышел наконец на чистую струю!

— Где люди? — кричал Камушкин, яростно встряхивая его за плечо. — Что с бурильщиками? Отвечай же, Алексей! Где взорвалось, слышишь?

— Ржавый уводит людей в гезенк, все целы, там они продержатся до помощи, — сказал Синев с наслаждением — сперва ртом, потом носом, вдыхая свежий холодный воздух. — Взорвалось в районе семнадцатого, я шел туда, но не добрался. — Он вдруг крикнул Камушкину запальчиво: — Как ты мог отправить туда Скворцову? Как ты...

Он не кончил: взбешенный Камушкин исступленно срывал с него респиратор. Ошалев от неожиданности, Синев еле защищался. Когда прибор был уже у Камушкина, Синев вне себя от ярости вцепился в его руку. Тот отшвырнул его от себя и сказал:

— Беги, трус! Респиратор тебе не нужен... Вызваны горноспасатели, расскажи им о гезенке и квершлаге. И торопись, пламя прорвалось по исходящей струе на верхние горизонты, вентиляционные двери сорваны.

Говоря это, он торопливо закреплял на себе респиратор. Синев в ужасе снова вцепился в его руку.

— Хоть самоспасатель дай! — молил он. — Пойми, Павел, не доберусь я до устья.

Камушкин опять оттолкнул его.

— Беги, сволочь, направляй людей! — крикнул он, лихорадочно продевая ремни в застежки.

Синев схватил свою лампочку, валявшуюся на земле, и понесся в сторону устья. Теперь он мчался изо всех сил, даже от взрыва он так не убегал. Грозные слова Камушкина о прорвавшемся вверх пламени и разрушении вентиляционных дверей были ему до ужаса понятны. Нет, опасность не кончилась, она только начиналась. Раз двери разрушены, значит вся система проветривания шахты спутана: на каждом ходу, на каждой развилке ходов его мог подстерегать очаг окиси углерода, мешок углекислоты, облако метана. Что бы это ни было, теперь это значило одно: смерть. Он жадно заглатывал воздух, воздух был чист, Синеву же казалось, что яд уже проникает в его кровь, сочится в его легкие.

Он мчался, не различая дороги, ему даже в голову не приходило, что он может заблудиться: он мог в полной темноте обойти всю шахту, не пропустив ни одного уклона. И все же он ошибся, хотя это уже зависело не от него. Он решил сократить путь — главная штольня в этом месте петляла, он кинулся по короткому пути — через вентиляционную печь. В спешке он даже не заметил, что воздух в печи недвижим и затхл. Только, когда свет лампочки упал на развороченные бревна и груды земли, он понял, что произошло в этом месте — обвал завалил проход на свежую струю. В смятении он ринулся в боковой ходок: он не хотел возвращаться обратно, боялся потерять новые бесценные минуты. На этот раз он попал в тупик, ходок был незакончен, нужно было свернуть в следующий — он знал это, но в страхе забыл. Он повернул назад, побежал еще быстрее. На него пахнуло свежестью, где-то далеко забрезжил рассвет — сияние ламп дневного света. Это было устье. Но он не добежал до устья. Страшный отдаленный рокот потряс своды, судорога свела землю. На Синева стали валиться кусочки породы, бревна крепи затрещали. Потом все сразу обрушилось — своды и стены. Он видел, как падали на него гигантские стояки, как летели в облаках пыли доски. Опрокинутый на землю, он даже успел заметить, как над его головой сомкнулся новый свод — зацепившиеся одна за другую балки. Разбитая лампа погасла. Синев лежал на том же месте, протягивая в разные стороны руки — пальцы всюду упирались в бревна и землю. Он знал, что всего в нескольких метрах от него сияли лампы, тихо шелестел ветерок свежей струи, там скоро появятся люди — спасатели, он даже голоса не сумеет им подать, ничто теперь не выручит его из страшного этого склепа. Он потерял сознание.

5

Когда разразился взрыв, Камушкин был на второй капитальной штольне — по ней протекала исходящая струя несвежего воздуха. Он издали услышал удар, гулко и мощно пронесшийся по горным породам, затем стал приближаться шум несущегося пламени. Камушкин успел вбежать в боковой ход — вентиляционную печь, — приник к земле у самой двери, прикрыл шею и голову руками. Пламя промчалось мимо печи голубоватым сиянием, один его короткий язык лизнул стены, упругий удар нагретого воздуха потащил Камушкина по земле и бросил на рухнувшие двери. И сейчас же мощный поток свежего воздуха, сметая пыль взрыва, устремился вдогонку за пламенем.

Камушкин, оглушенный воздушным толчком, с трудом поднялся и кинулся ставить упавшие двери. Но разрежение, образованное уносившимся пламенем, со страшной силой вытягивало воздух из откаточной штольни. Мимо Камушкина неслась буря, ветер опрокидывал его, ослеплял и оглушал. Камушкин работал ожесточенно, он разрывал кожу на пальцах в брезентовых рукавицах, ломал ногти, время не ждало: если он немедленно не поставит дверей, свежая струя ринется по новому — короткому пути, и там, внизу, в районе взрыва, где сейчас распространяются его продукты — ядовитые газы, раненые и задыхающиеся люди останутся без живительного притока кислорода. Он видел этих людей, слышал их крики, их мольбы о помощи — рыча от бешенства, он исступленно боролся с вырывающимися у него из рук под мощным давлением ветра плотно склепанными досками. Особенно трудно было поставить вторую половину сорванных дверей — в оставшееся узкое отверстие лилась целая река бешеного воздуха. Он справился и со второй половинкой, воздушная струя оборвалась, словно отрубленная топором. Камушкин, разом обессилев, прислонился телом к двери, жадно дышал, ноги его гнулись и расползались в стороны. Это состояние длилось недолго, он пришел в себя, еще не успев свалиться, снова бросился к дверям. Теперь он закреплял их, чтоб они не распахнулись и не упали ни сами собою, ни во время нового взрыва. Потом он бросился на свежую струю.

Он спешил не к устью, не к спасению от опасности, а вниз, в места, где произошел взрыв. Мимо него в смятении бежали бросившие работу люди, они окликали его, хотели увлечь с собою — он не отвечал им, даже не всматривался в их лица. Ему было не до них: далеко внизу, в самых опасных горизонтах шахты, гибли люди, он должен быть там, должен спасти их, ничего другого он не понимал.

Только в одном месте он оборвал на минуту свой яростный бег. Он сорвал со стены трубку взрывобезопасного телефона, вызвал управление. Ему ответил взволнованный голос Семенюка.

— Сынок, сынок! — сказал Семенюк отчаянно. — Ради бога, что у вас случилось?

— Иван Сергеевич, я на двести двадцатом! — крикнул Камушкин. — Взрыв где-то ниже. Самое главное — закрыть верхние печи, а то на низу не хватит воздуха. Что вы предпринимаете?

— Зараз спускается первая партия спасателей, — донесся голос Семенюка. — Хоть бы одно знать — что с людьми, где они? Сам ты будь осторожен, сынок!

Страшное известие, переданное Синевым, только усилило энергию Камушкина. За пятым штреком он вступил в зону отравленного воздуха, свежая струя разбавляла его, гнала вниз и там — через открытые нижние печи — выбрасывала наружу. В этом месте дышать было трудно. Камушкин побежал еще быстрее. У развилки ходов, где Ржавый собирал своих людей, уже никого не было, все убрались в гезенк. Помочь им Камушкин сейчас не мог, да они и не нуждались в его помощи, он знал уже, что взрыв произошел в другом месте. Только там, в узком ходке, где он оставил Скворцову, где работали отпальщики, еще могла понадобиться его помощь. Он помчался в семнадцатый квершлаг.

Его лампочка осветила страшную картину происшедшего взрыва — разбитый, вздыбившийся к потолку транспортер, покрытые густой копотью стены, воздух, туманный от взметенной и еще не осевшей пыли. Метрах в двадцати от входа он увидел Машу. Маша лежала на спине, тело ее выгибалось в судороге, одна рука разрывала воротник брезентовой куртки, другая скрюченными пальцами хватала мертвый воздух. Камушкин кинулся к Маше, сунул ей в рот трубку респиратора. Ему самому не хватало кислорода, он дышал часто и жадно, но даже не обратил на это внимания. Он ожесточенно и лихорадочно боролся за жизнь девушки, то давил обеими руками на ребра, чтоб восстановить дыхание, то старался поднять ее завалившуюся голову, то зажимал ей нос. Судорога, ломавшая тело Маши, стала спадать, она вытянулась на земле — он принял это за агонию. Он еще неистовее продолжал восстанавливать ее дыхание.

Сознание возвратилось к Маше чувством испуга. Ее лицо жалко перекосилось от ужаса. Она приподняла голову, заметалась. Руки ее поднялись ко рту, она пыталась вырвать трубку, давилась ею, словно это была затычка, а не клапан, исторгавший живительную струю. Камушкин надавил на ее плечи, сжал руки. Делая резкие быстрые вдохи из самоспасателя, он возбужденно и бессвязно кричал:

— Лежи, лежи, Маша! Все в порядке, понятно? Сейчас пойдем, сейчас! Отвечай глазами, вот так. Здесь болит? Хорошо. Здесь? Здесь? Ни одной ногой не можешь пошевелить? Ничего, ничего! Говорю — ничего! Лежи, лежи, глупая же, лежи! Я понесу тебя. Вынесу, не бойся.

Он поднял ее на руки, осторожно понес. Выйдя на чистую струю, он прошел несколько шагов вверх. Здесь воздух, хотя и наполненный углекислотою, был чище, можно было — с трудом и недолго — дышать без самоспасатель. Камушкин положил Машу на землю, склонился над ней, осветив ее лицо.

— Полежи одна Минуту-другую, — сказал он. — Я вернусь, посмотрю, как отпальщики. — Лицо ее исказилось, она в страхе ухватила его руками, ее ужаснула мысль снова остаться одной во тьме. Он успокаивал ее, как больного ребенка, гладил ее по щеке. — Ну, ну, не надо! Приду, сейчас же приду. Неужто же покину?

Он торопливо удалялся, оборачиваясь, издали кричал: «Приду!» Маша лежала на ледяной земле, холодная струя обвевала ее лицо, она поворачивала голову в ту сторону, куда он ушел, вслушивалась и всматривалась в темноту. Все же ожидание показалось ей нестерпимым — от бессилия и страха Маша заплакала. Камушкин вынырнул из темноты, предваряемый коротким светом лампочки. Он был мрачен и подавлен. Он сел рядом с Машей и спросил:

— Ну, как ты? Хуже не стало? — Она покачала головой, схватила его руку. Он продолжал: — Ну, а там — всё! Мертвее не бывают. Просто удивляюсь, как тебе повезло. Твое счастье, что свежая струя унесла угарный газ из квершлага, а то бы — сразу задохлась. Ладно, пойдем. Пугать не буду, а торопиться надо — все может случиться.

Идти она не могла. Она не сумела даже подняться и бессильно завалилась на руки Камушкина. Он снова закрепил на себе снятый было респиратор и взял ее на руки. Он нес ее, прижимая к себе, он торопился, свет его лампочки беспорядочно блуждал по штольне, выбирая более ровную дорогу. Она не видела света, ее окружала непроницаемая мгла пути, она лежала щекой на вздутых мускулах его руки. Прежней режущей боли внутри уже не было, все в ней глухо ныло, она вдруг почувствовала черную мучительную усталость. Она застонала, он пошел еще быстрее.

Очнулась она снова на земле. Рядом с ней лежал Камушкин. Трубки у него во рту больше не было. Он дышал так жадно и шумно, словно боялся, что больше не представится случая насытиться воздухом. Маша в испуге подняла голову.

— Лежи, Маша! — хрипло сказал Камушкин. — Отдыхай. Вышли на двести пятый горизонт, все опасные места позади. Постой, я освобожу тебя от респиратора.

Он осторожно вынул у нее изо рта трубку. Она с наслаждением глотнула свежий, холодный и чистый воздух. Камушкин снова повалился на землю. Она видела, что он измучен. Только сейчас она заметила, что под головой у нее лежит телогрейка, он снял ее с себя, оставался в одной гимнастерке.

— Возьмите телогрейку! — прошептала она. Она хотела сказать громче, но не сумела, голос не слушался ее, был слаб и сипл. — Очень прошу вас, Павел!

Он грубо крикнул в ответ:

— Ладно, молчи! Знаю, что делаю. Сейчас пойдем, еще минутку отдохну.

Он придвинул к ней лицо, большая сильная рука легла на ее руку. Камушкин сказал радостно:

— Теперь доберемся, пустяки остались. Жива ты, жива, понимаешь!

Вскочив на ноги, он взял свою телогрейку, закрепил на спине респиратор.

— Пойдем, Маша, отдохнули. Крепче ухвати меня за шею, так лучше. Минут на двадцать ходу, не больше.

Но ходу оказалось больше, чем двадцать минут. Камушкин первый услышал отдаленный грохот нового взрыва, рев несущегося по штольне воздушного потока. Он заботливо нес Машу, крепко обхватив ее талию. Вдруг он бросил ее на землю, сам навалился на нее всем телом, придавил ее своей тяжестью. Ей показалось, что ум его помутился. Она закричала, стала отталкивать его. Он с яростью схватил ее руки, сунул их под себя, не освобождая лица. Затем все потонуло в пыли и грохоте. Град камней засыпал Камушкина, она слышала их удары о металлические стенки респиратора. Тело Камушкина ослабло, новый порыв ветра откатил его в сторону. Маша подняла освобожденное лицо. В штольне было темно и тихо, грохот умчался куда-то в сторону. В смятении Маша шарила вокруг себя руками. Не помня себя, вдруг вернув себе силы, она проползла несколько шагов и наткнулась на Камушкина. Ей показалось, что он мертв. Она трясла его и кричала со слезами:

— Павел, слышишь меня? Павел, Павел!

Он шевельнулся и застонал, потом приподнялся. Он нащупал Машу и прохрипел:

— Маша, ты жива? Меня ударило камнем по голове, сразу память отшибло. Как ты?

Она прошептала с облегчением: «Жива» — и снова потеряла сознание. Он встал, пошатываясь. Голова его гудела, ноги тряслись, руки сразу ослабели. С трудом ему удалось поднять Машу. Он бросил респиратор и самоспасатель, только ненужный аккумулятор болтался у него на поясе — лампочка была разбита. Он брел в темноте к выходу, часто останавливался, всем телом припадал к стене, отдыхая. Он ничего не помнил, не соображал, куда идет, долго ли вынесет этот путь в темноте. Только одно он понимал ясно и отчетливо: нужно идти, во что бы то ни стало идти, иначе Маша, безжизненно лежавшая у него на руках, погибнет.

6

Взрыв, вырвавшийся из семнадцатого квершлага, еще потрясал стены штолен и штреков, пламя еще мчалось, погасая на свежей струе, а мастера на всех горизонтах срывали со стен телефонные трубки и сообщали в управление о несчастье. В дежурке военизированной горноспасательной части заливалась аварийная сигнализация, горноспасатели, прервав очередное политзанятие, спешили к одежде и снаряжению. Все это происходило одновременно: раненая, задыхающаяся Маша ползла на свежую струю, Ржавый собирал людей в гезенк. Синев несся, замирая от ужаса, через пояс заполненных газом горизонтов, Камушкин боролся с вентиляционными дверьми, а первая партия спасателей с ломами, кирками, респираторами, кислородными баллонами, огнетушителями и аптечками уже вступала в проходную. Здесь их задержали. Из шахты выбегали испуганные люди, их пересчитывали, отмечали их фамилии в журнале, расспрашивали, что они видели.

Начальник горноспасательного отряда лейтенант Кобозев, оставив своих, поспешил в управление испрашивать разрешение на спуск под землю. В кабинете Озерова распоряжался дежуривший по шахте Семенюк. Он вызывал горноспасателей с других шахт и рудников, выслушивал сообщения диспетчера, отвечал на тревожные запросы начальника комбината и его заместителей, послал двух человек отыскивать потерявшихся где-то руководителей шахты, просматривал анализы исходящей струи, прикидывал, рассчитывал, сопоставлял.

— Иван Сергеевич! — крикнул в репродукторе голос диспетчера. — Больше никто не выходит. Люди выбрались отовсюду, кроме стовосьмидесятого горизонта, я не считаю электриков на подстанции, те на своих местах. Не имею сведений о бригаде Ржавого и его соседей, о двух отпальщиках, еще пропали Синев, Камушкин и Скворцова, всего сорок один человек. Как с вентиляцией? Пожары разносятся...

— Держать вентиляторы на ходу! — крикнул Семенюк. — От черти, куда воны запропалы? — Он в отчаянии выругался.

Начальник спасателей мрачно отозвался:

— Сорок один, может, умирают... А мы чего-то жди!

Семенюк выругался еще злее.

— Слухай, сынок! Запомни: взрыв где-то посередине, а на низу — ничего. Значит, люди там живы, рэзумиешь? Одна опасность — могут задохнуться. Иди и спасай их на самом низу, там ищи — на стовосьмидесятом метре. И все печи по пути закрывай, чтоб свежая струя добралась до низа. Звони с каждого пункта. Иди!

Кобозев пулей выскочил в дверь. Через несколько минут отряд спустился в опустевшую, замершую шахту. Лампы в устье и на главной штольне еще горели, но все механизмы стояли. Только электрики подземной преобразовательной подстанции, несмотря на опасность, продолжали работать, обеспечивая шахту энергией и светом. Тут, впрочем, не так уж было опасно: мощные бетонные своды и стены предохраняли от любых взрывов, от удушения спасала свежая струя.

Горноспасатели торопливо спустились в уклоны. Здесь они пошли медленнее. Почти во всех подземных вентиляционных ходах были разбиты или сильно повреждены двери. Спасатели проверяли, не осталось ли в этих местах людей, и, если это было возможно, наскоро запирали двери, чтобы преградить ход воздушному потоку. Недалеко от шестого штрека им встретился очаг пожара, горело крепление стен и остатки угля в выработанных забоях. Из штрека на чистую струю, отравляя ее, выносилась нагретая углекислота. Спасатели пустили в ход огнетушители, но пожар, хоть пламени почти не было видно, захватил слишком большое пространство. Кобозев колебался, идти дальше или локализировать пожар. Главным в его задании было спасение людей, но он понимал, что поток газов, вырывающихся из штрека, является для этих людей, может быть, единственным препятствием к спасению. Взрывов на самом низу не было, если люди не поднялись наверх, то только потому, что не могли преодолеть это загазованное пространство, — нужно, значит, прекратить выход газа. В этом месте — районе заброшенных и незавершенных выработок — была очень сложная система мелких вентиляционных печей, ходки скрещивались и переплетались, шли один над другим. Спасатели быстро посовещались, выполнение их решения — собрать ненужные бревна и доски на старых ходках и наскоро закрепить их в шестом штреке — должно было занять не более получаса. Доски были подтащены к нужному месту, более двадцати сильных и ловких рук тут же скрепили их перекладинами и подняли сколоченный щит. Стальные крючья, вбитые в крепление стен, надежно прихватили щит, дорога углекислоте была закрыта — свежая струя теперь всюду была свежа.

В этот момент случилось то, чего ни один из них не мог предугадать и от чего у них не было защиты. В старых выработках годами скоплялась угольная пыль, ее выбирали, заваливали инертными массами — глинами и песком, — от нее отгораживались перемычками. Это была грозная опасность в шахте — сухая угольная пыль, не менее взрывчатая, чем метан. Поваленные вентиляционные двери открыли дорогу воздушным потокам в самые неожиданные и глухие места. И, видимо, один из этих потоков вынес массу слежавшейся пыли на подожженный тлеющий уголь. Взрыв потряс стены, только что установленный щит рухнул, черное смертоносное облако вырвалось из недр штрека. Оглушенные грохотом, спасатели попадали на землю, их несло по земле, заваливало досками, било камнями, обжигало пламенем.

Это был тот самый второй взрыв, что обрушил над головой Синева крепление штрека и пыльным вихрем пронесся над Камушкиным и Машей.

7

Два человека, посланные Семенюком на розыски, шли по горной дороге, когда на них вынесся гудящий грузовик. Они догадались, что это возвращается шахтное начальство, и замахали руками. Грузовик затормозил, из кузова им протянул руку Мациевич.

— Сюда! — крикнул он. — Здесь все расскажете.

Озеров открыл дверь кабины и встал на подножку.

Симак высунул голову — они слушали рассказ шахтеров. Нового к тому, что уже знал Озеров, они не добавили. Мациевич постучал кулаком по крыше кабины и приказал:

— Прямо к вентиляторной!

Он выпрыгнул еще до того, как грузовик затормозил полностью. В вентиляторной было несколько человек посторонних, они возбужденно толпились у ровно и мощно гудевших машин. При появлении главного инженера они, замолчав, торопливо расступились. Мациевич быстро спросил у дежурного вентиляторщика.

— Как с вентиляторами? Распоряжения были?

— Нет, Владислав Иванович, только Семенюк интересовался, не случилось ли чего с машинами. Пока держу нормальный расход.

Мациевич поспешил в управление. Он вбежал в кабинет Озерова вместе с самим Озеровым и Симаком. В вестибюле толпились вышедшие наверх шахтеры. Начальник шахты и парторг задержались с ними. Мациевич промчался мимо, ни на кого не взглянув. Его провожали злыми глазами. Он слышал чьи-то слова из толпы: «Доигрались, волокитчики, людей загубили ни за что!» — он не обернулся на возглас. Он кинулся к внутренним телефонам. Семенюк прильнул ухом к репродуктору, чуть не влезал в него головой. Мациевич молча оттолкнул его. Семенюк отчаянно посмотрел на него и вдруг схватился за голову.

— Боже ж мой, что ж то делается? — простонал он. — Новый взрыв! От спасателей никаких звонков, мабуть, все погибли!

Он доложил о принятых им мерах, о своих предположениях. Мациевич быстро сказал Озерову:

— Мне сейчас полагается быть здесь — распоряжаться спасательными работами. Думаю, Семенюк или ты вполне меня замените. Хочу спуститься в шахту, там мое присутствие нужнее при данных обстоятельствах.

Озеров колебался, Симак настороженно переводил взгляд с одного на другого.

— Ладно, — неохотно сказал Озеров. — Заменим тебя.

Мациевич позвонил секретарю и приказал:

— Мой шахтерский костюм. Попросите у спасателей один запасной респиратор. Живо!

В кабинет поминутно приносили анализы исходящей струи, сообщали о приезде машин с горноспасателями. Уже сорок человек в полной готовности стояли у проходной, ожидали последнюю, самую крупную партию с подземного рудника. Мациевич пробегал глазами сводки анализов и торопливо переодевался. После одного из звонков Озеров негромко сказал:

— От Пинегина. Будет через десять минут.

Пинегин вошел вместе с человеком, сообщившим, что последняя машина с горноспасателями прибыла. Вслед за ним показался Волынский. Мациевич не обратил внимания на Пинегина, он поспешно натягивал на голову каску и закреплял лампочку, респиратор был уже на нем. Пинегин остановил Мациевича.

— Я знаю, каждая минута дорога, — сказал он. — Но я должен быть в курсе. Известно вам уже что-нибудь точно?

Ему ответил Озеров:

— Точно ничего не известно. Произошли два взрыва, оба где-то на средних горизонтах, метана там до этого дня не наблюдалось. В шахте остались люди, работавшие на низу. Очень возможно, что имеются местные пожары. Если они распространятся, шахта надолго выйдет из строя.

Пинегин спросил, переводя строгий взгляд с Озерова на Мациевича:

— Какие меры вы приняли для спасения людей и шахты?

На этот раз заговорил Мациевич — зло и решительно:

— Самый лучший способ спасти шахту — остановить вентиляторы. Начавшиеся пожары задохнутся без кислорода — во всяком случае, не распространятся. Люди, конечно, погибнут, зато уголь будет спасен. Случаев такого рода масса в истории угольной промышленности. Не этого ли вы хотите от нас, Иван Лукьянович?

Пинегин побледнел. Его брови сдвинулись. Он сказал негромко:

— Я спрашиваю, что вы предприняли?

— В шахту вдувается максимум воздуха, который вообще возможно получить, резко ответил Мациевич. — Я иду на риск распространения пожаров, чтобы спасти людей. Вы можете создавать любые следственные комиссии, я отвечу за каждое свое слово и поступок.

Озеров встал и подошел к Мациевичу.

— Вместе ответим, — сказал он спокойно. — Это также и мое решение.

Пинегин молчал. Он смотрел на обоих руководителей шахты, но видел больше, чем только их, — они были лишь концом ярко возникшей перед ним цепочки. Они спасают людей — возможно, никого из этих людей уже нет в живых и все их усилия заранее напрасны. Но шахта может на долгие недели выйти из строя, и это — реальность. Ее, шахту эту, создавали годами. Считанные часы требуются, чтобы ее разрушить. Через неделю последний кусок кокса будет загружен в печи — остановятся плавильные цехи, замрет электролиз, самые крупные в стране заводы перестанут выдавать продукцию. Это будет рана, серьезная рана, нанесенная всей стране, всей промышленности страны. За нее ответит он, Пинегин, его одного спросят: «Что же ты смотрел? Как ты допустил это?» Он гордился собой, своей беспорочной службой, ни один выговор не запятнал его биографию. Хуже, чем выговор — позорное снятие с работы завершит эту начавшуюся сегодня цепочку событий...

Пинегин мотнул головой, словно отбрасывая в сторону эти мысли. Решение его было твердо.

— Ответите, конечно. На то вы и руководители, — проговорил он мрачно. — А пока осуществляйте, что задумали.

Он не сдержался. Он подошел к Симаку, громко ему заметил:

— Вот уж не ожидал, чтобы так скоро исполнились твои страшные пророчества. Теперь надо признать — один ты по-настоящему понимал положение.

Симак промолчал. Воспользовавшись тем, что Пинегин повернулся к насупленному, замкнутому Волынскому, Симак быстро отошел в сторону. Он тронул за плечо уходившего Мациевича.

— Слушай, Владислав Иванович, я спущусь с тобой. Без твоего разрешения меня не пропустят.

Мациевич враждебно посмотрел на него.

— Зачем? Контролировать меня собираешься? Успеешь — будет официальное расследование.

Симак покачал головой.

— Не к чему нам теперь ссориться, не до того.

Мациевич угрюмо отвернулся.

— Ладно, поторопись переодеться. Ждать не будем.

Сводный отряд горноспасателей уже был в сборе у проходной. Мациевич сухо кивнул начальнику отряда, сделал знак, чтоб он шел рядом с ним. Уже в штольне к ним присоединился подоспевший Симак. Отряд спасателей — они тащили тяжелое снаряжение и не могли быстро двигаться — отстал от своих руководителей.

Мациевич коротко объяснил свой план спасательных работ.

— В вентиляционные печи заходить только там, где двери не в порядке. И особенно не задерживаться — за один выход отряда все равно всю систему проветривания не восстановить. В открытые штреки, уклоны и квершлаги заглядывать по два — быстренько пробежать и догнать остальных; мало вероятно, чтоб в открытых ходах сидели люди. У всякого завала останавливаемся, может, оставляем часть людей для немедленной расчистки — у нас нет гарантии, что под обломками не погребены раненые. Основная же масса, в том числе мы сами, без всякой задержки — на нижние горизонты. Рабочие оттуда не выбирались — значит, они нас ждут.

— Правильный план, — одобрил начальник отряда. — Я то же самое хотел предложить.

Мациевич покосился на Симака. Симак молчал.

Первую остановку пришлось сделать сразу за рудничным двором, в месте, где от главной штольни отходило много транспортерных штреков и квершлагов: в некоторых из них были разрушения. Проверка ближнего завала ничего не дала — свет лампочек пронизывал хаотическое переплетение бревен и досок, людей под ними не было. Зато бойцы, обследовавшие второе обрушение, наткнулись на следы человека, лампочки осветили зажатую бревнами каску. Начальник отряда скомандовал начать раскопки. Мациевич и Симак помогали молодым бойцам отбрасывать лопатами землю и камни и поднимать бревна. Внизу, под перепутавшимися балками, обнаружили Синева. Он был без чувств, но жив. Горноспасатели знали нехитрые правила оживления потерявших сознание, три человека энергично возились с Синевым. Начальник отряда заметил Мациевичу:

— Может, пойдем, Владислав Иванович, пока они тут приводят его в чувство? Люди ведь там ждут нас.

Мациевич угрюмо всматривался в лицо начавшего уже дышать и шевелить руками Синева; теперь оно из черного стадо бледным, его обтерли ватой со спиртом.

— Ждут, верно, но где? Одно слово Синева, может быть, сбережет нам часы напрасных поисков. Будем терпеливы.

Начальник отряда сам принялся растирать Синева. Через несколько минут тот открыл глаза. Он еще ничего не понимал и не отвечал на вопросы. Мациевич тряс Синева за плечи, заглядывал ему в глаза, настойчиво повторял:

— Это мы, Алексей. Спасли тебя... Ты спасен, понимаешь? Что остальные? Где остальные? Понимаешь меня — где остальные? Я спрашиваю тебя, что ты знаешь о других? Ты слышишь меня, Синев?

Синев наконец услышал. Он заговорил, давясь словами, разобрать их не удалось. Мациевич приставил ухо к самым губам Синева, попросил повторить. До него донесся слабый шепот:

— В гезенке... Ржавый... Всех уводит... Гезенк... Камушкин... Камушкин...

Синев, обессиленный, замолчал, снова закрыл глаза, упал на руки поддерживавших его людей. Мациевич не стал добиваться дальнейших объяснений, самое важное он уже знал. От его медлительности и сдержанности не осталось и следа. Он стремительно вскочил на ноги.

— Синева на носилках наверх! — скомандовал он. — Два человека! А мы, товарищи, вниз.

По дороге он предложил начальнику отряда:

— Разобьемся на две группы. Я иду в гезенк с основной партией, ты отыскиваешь первый отряд спасателей, они, вероятно, где-то недалеко.

— Это можно, — согласился начальник отряда. — Пока пойдем вместе — до развилки.

Скоро лампочки спасателей осветили человека с ношей на руках. Человек шатался, брел у самой стены, поминутно прислоняясь к ней. Он закричал, увидев лампочки спасателей, пытался побежать навстречу, но свалился. Симак с Мациевичем подбежали к нему — это был Камушкин с Машей. Они стали поднимать его, он оттолкнул их и сам поднялся на ноги. Машу тут же положили на носилки, она была по-прежнему без сознания. Один из бойцов вынул медицинскую трубку, наскоро прослушал девушку.

— Жива, — сказал он уверенно. — Дышит аккуратно. Скорей бы ее в палату.

— Сам доставишь ее наверх, Павел Николаевич? — спросил Мациевич Камушкина. — Тебе тоже нужно полежать — на себя не похож. Неужели и ты попал во взрыв?

Камушкин отрицательно покачал головой. Он не отводил взгляда от черного безжизненного лица Маши.

Два бойца подняли носилки и понесли их. Камушкин повернулся к Мациевичу и Симаку.

— Дайте мне респиратор, — сказал он хрипло и устало. — Ничего со мной не было, разок тяпнуло по башке. Не буду отлеживаться, когда на участке такое несчастье. Не смотрите на меня так, я не ранен, измучился только, через десять минут пройдет. Почему вы замешкались? Семенюк сказал мне: «Через пять минут выходит первая партия спасателей».

— Они через пять минут и вышли, — подтвердил Мациевич. — И, кажется, сами попали в переделку, — ни звонков от них, ни их самих. Произошел второй взрыв. Думаю, судя по характеру взрыва и загрязнению исходящей струи, что на этот раз вспыхнула угольная пыль, а не метан. К сожалению, среди наших спасателей не было ни одного достаточно опытного горняка, Семенюк поторопился отправить партию вниз.

— Правильно, угольная пыль, — заметил Камушкин. Он с каждой минутой восстанавливал свои силы и уже уверенно шагал рядом с быстрым Мациевичем. — И знаете, где взорвалось? Около шестого штрека, волна шла оттуда.

За пятым штреком стали попадаться первые знаки происшедшего несчастья — сорванные взрывом каски, черенки лопат, разбитые аптечки и кислородные приборы. Потом увидели раненого спасателя — он полз в темноте по штольне и тихо стонал. Весь отряд без команды бросился в шестой штрек. Лампочки осветили покореженную крепь, людей, валявшихся друг на друге. Погиб один, остальные получили ранения, многие были ранены серьезно. Неожиданный воздушный поток, вызвавший взрыв пыли, после катастрофы помогал спасать пострадавших — он оттеснял и разрежал углекислоту. По штреку тянул сравнительно чистый воздух. Половина отряда- принялась вытаскивать на свежую струю своих пострадавших товарищей, остальных Мациевич увел с собой.

— Скорей, скорей! — твердил он, шагая все стремительнее.

8

Решение Ржавого — увести людей в гезенк — было самым разумным в создавшихся условиях. Гезенк представлял собой вертикальную шахту, колодец со входом снизу, а не сверху. Здесь пробивалась самая короткая дорога между верхними и нижними горизонтами, проходка этой шахты шла с двух концов одновременно, но еще не была закончена: оба ствола не сомкнулись. Ржавый рассчитал, что тяжелая углекислота, приносимая все в большем количестве свежей струей, не сумеет заполнить уходящее наверх пространство. Сообщить о своем решении диспетчеру он не мог: телефонная линия на его участке была повреждена.

Он стал командовать всеми спасательными действиями. Ему сразу же подчинились: Ржавый был самый опытный и заслуженный из шахтеров, лучше других мог разобраться в обстановке. Он приказал, чтобы рабочие прихватили с собой имевшийся плотничий инструмент и доски. После этого он побежал на развилку путей — следить, чтобы кто-нибудь из соседних бригад в панике не помчался наверх, в заполненный газами пояс шахты. Он повесил рядом с собой на гвозде рудничную бензиновую лампу. Пламя вначале горело нормально, метан, сочившийся в этом районе из пор земли, нигде не скапливался, его, как и прежде, выбрасывало на исходящую из шахты струю током нагнетаемого под землю воздуха. Уже после встречи с Синевым Ржавый заметил изменение в форме пламени — оно не удлинялось, начинало коптить, потом вокруг него появился зловещий голубоватый ореол. Последний из шахтеров, Полищук, пробежал в убежище. Товарищи, встревоженные, громко окликали Ржавого. Он крикнул: «Сейчас!», но не тронулся с места. Он напряженно вглядывался в лампочку, прикрутил фитиль, чтоб точнее определить форму пламени, — голубоватый ореол увеличивался. Пламя медленно погасло, удушаемое метаном, в воздухе его было уже не менее семи процентов — самая взрывная концентрация. Ржавый повернулся в сторону свежей струи, подставил под нее лицо — струя была слабая, но отчетливая. Он представил себе весь огромный путь, который она пробегала в этих подземельях. Все ему было понятно: где-то опрокинуты запасные вентиляционные двери, свежая струя нашла себе более короткий путь к выходу, до низа добираются только жалкие ее остатки, насыщенные углекислотой. Вот отчего стало больше метана — его уже не так энергично выносит наружу. Взрыва Ржавый не боялся, взрыв был маловероятен, он опасался другого: метан, один из легчайших газов, мог натечь в гезенк, вытеснить сохранившийся там здоровый воздух. Ржавый снова повернулся к свежей струе — отравленная и ослабевшая, она текла, она боролась с метаном, уносила его наружу. Вентиляторы на поверхности продолжали сражаться с разразившейся в недрах земли катастрофой — товарищи не оставляли их в беде, они думали о них, эта слабая струя была рукой первой помощи, протянутой им, скоро придет и другая, настоящая помощь. Ржавый торопливо побежал в гезенк.

Он никому не сказал о своих открытиях и опасениях. Он видел, что люди и без него понимали всю опасность положения. Крутой, поднимающийся вверх уклон кончался вертикальным колодцем. На площадке колодца толпились все бежавшие с мест работы люди. Несколько человек при свете аккумуляторных ламп поспешно сколачивали двери, чтобы закрыть выход из гезенка. Ржавый указал на щели между досками и забраковал их работу. Он сам устанавливал двери, сорвал с себя телогрейку и дал заткнуть ею просветы между досками и стенами. Другие шахтеры сделали то же самое.

Широкий гезенк уходил вверх метров на пятнадцать. В нем было несколько сот кубометров сравнительно чистого воздуха. Люди, раньше задыхавшиеся на истощенной свежей струе, сейчас дышали свободно и шумно. Уже слышались смех и шутки — в любом, самом отчаянном положении всегда найдется что-нибудь такое, над чем можно посмеяться.

— А Колька Серкин летел на двадцать метров впереди взрыва! — говорил молодой шахтер. — С такой скоростью можно башкой стену прошибить и наружу выскочить.

Серкин, такой же молодой парень, как и тот, что над ним потешался, смущенно оправдывался. Он впервые попал в подземный взрыв, но слышал о них много страшного; ему показалось, что сама смерть у него за плечами. Старые рабочие не шутили, они знали, что испуг Серкина не так уж был бессмыслен, — смерть в самом деле дежурила неподалеку, они от нее еще не избавились. Гриценко сердито прикрикнул на парней:

— А ну, кончай базар! Без ваших смехунчиков тошно!

Парни притихли. К Ржавому подсел Харитонов. Он проницательно поглядел на сосредоточенного Ржавого.

— Слушай, Василий, — сказал он тихо. — От меня скрываться нечего. Что ты там увидел напоследок?

Ржавый рассказал ему об увеличении метана в воздухе и своих опасениях, что вверху спутана вся система проветривания.

— Плохо наше дело, — невесело сказал Харитонов. — Если вентиляторы не остановят, часа три еще промучаемся — может, за это время подойдут спасатели. А если остановят, через пять минут после остановки передохнем, как мыши.

— Не остановят, — отозвался Ржавый. — Я с Синевым передал, что мы тут.

Харитонов задумчиво сказал:

— Если добрался твой Синев. Сейчас, похоже, где-то основательно грохнуло. Вполне вероятно, попадет в обвал.

Они помолчали. Второй взрыв донесся до них только слабым содроганием в земле, но смысл этого содрогания был понятен. Оба думали об одном: никто не знает, живы ли они, скорее даже, наоборот, уверены, что они погибли, раз не выбрались наружу. Зачем же тогда нагнетать свежий воздух в шахту, разносить пожары, порождать новые взрывы? Шахта в грозной опасности, нужно спасать шахту, людям после двух таких взрывов не помочь — вполне резонно это соображение.

— Не остановят, — ответил Ржавый мыслям Харитонова и своим. — Уверен — не остановят...

Харитонов продолжал:

— Знаешь, я все думаю: отчего случилось? И мысль у меня одна нехорошая — не Скворцова ли тут причиной?

Ржавый изумился.

— Да как она могла бы? Соображаешь? Она ведь только записывала, что мы делали.

Харитонов кивнул головой.

— Вот-вот, сидит и записывает. Мы с тобой не в счет, а другие, видел, как относятся? Трясутся, как бы она секреты не выведала, что ли. А Сергей — парень молодой. Как бы он не пошел чего-нибудь выкидывать, знаешь, чтобы себя показать, — в шахте такие штуки опасны.

— Семеныч не даст, — возразил Ржавый. — Бывалый старик. — Соображения Харитонова показались Ржавому, однако, основательными, он невесело закончил: — Что гадать, толку от этого не будет. Сейчас меня один метан беспокоит.

Харитонов посмотрел на бензиновую лампочку в выбоине стены — кто-то принес ее в гезенк, Ржавый свою потухшую оставил на развилке. Обоим показалось, что около пока еще спокойного пламени начинает появляться знакомое голубоватое сияние. Харитонов пробрался к лампочке и задул ее. Гриценко выругался — это была его лампа, он, как и Ржавый, никогда не расставался с ней.

— Брось лаяться, Гриценко! — посоветовал Харитонов. — Свету и без нее хватает, а кислорода она берет больше человека.

Гриценко продолжал ворчать. Харитонов возвратился к Ржавому. Они лежали на земле, изредка перекидываясь словами. Скоро стала чувствоваться духота. Воздух в гезенке портился с поразительной быстротой. Харитонов пожаловался Ржавому на головную боль и шум в ушах. Ржавому было не лучше. Он молчаливо рассчитывал и прикидывал. Они сидят в гезенке не более часа. Этого срока недостаточно, чтоб подоспели спасатели от устья, находившегося в четырех километрах, а в пути еще могут встретиться всякие неожиданности. Да знают ли спасатели, где они укрылись? Синев мог их не встретить, а розыски по всем разработкам и ходам займут немало времени. Ржавый чутко прислушивался ко всем звукам — за наскоро сколоченными дверьми, запиравшими гезенк, простиралась каменная тишина. Кто-то нерешительно предложил выйти на свежую струю — может, она очистилась. Другие запротестовали — уже одно то, что воздух портится, показывает, что извне натекает углекислота, откроют они двери — углекислота хлынет волною...

Гриценко, раньше злобно огрызавшийся на всех, вдруг забушевал.

— Вот они — начальники! — орал он. — Ни одного не оказалось под землею, все по кабинетам спасаются. Одни мы за всех отдуваемся — работяги! А сколько его сиятельству главному инженеру твердили: опасно... Только засопит, поглядит сверху — все, проходи! Хоть бы один из них разок хлебнул... А сейчас заседают, планы строят, протокольчики об аварии. Еще мы виноваты окажемся по протокольчику. Будь она проклята, шахта эта! Ноги моей больше здесь не будет. Слышите? — прокричал он. — Всем говорю: спасусь — шахту к чертовой матери! И вам советую — пусть графья главные сами полезут за угольком!

Харитонов кивнул на него головой.

— Разобрало. Псих все же!

Ржавый сурово отозвался:

— Запсихуешь. Скоро других разберет. Ты тоже не застрахован.

Харитонов мрачно возразил:

— Я застрахован. Умереть — умру, это каждый может. А на стену от трусости не полезу.

Гриценко, откричавшись, замолк. Его крик расковал молчание — все говорили, жаловались, стонали, ругались. Серкин, лежавший около Ржавого, прошептал с тоской:

— Хоть бы скорее — сил нет...

Ржавый положил ему руку на голову — он жалел робкого парня. Серкин всхлипывал и метался, широко раскрывая рот. Ржавый сказал ему ласково:

— Потерпи, сынок, помощь придет.

— Умираю... — хрипло проговорил Серкин. — Дядя Вася, умираю же... Помоги!

Ржавый отвернулся, сжал губы — он больше страдал от того, что не мог помочь Серкину, чем от собственного мучения. Снова нависла смутная, тяжкая, как полог, тишина: люди дышали, не хватало времени на разговоры. В свете аккумуляторных лампочек на каждом лице были видны признаки приближающегося удушья — выпученные глаза, одутловатые щеки, багровеющая кожа... Широко раскрывая рты, заглатывая воздух частыми резкими вдохами, люди ворочались, толкались, старались — уже непроизвольно — сменить место, подняться то выше, то ниже, чтобы вдохнуть больше кислорода. Человека три ползали по земле, отталкивая других, в поисках воздуха. Ржавый, ослабевший, с мутной головой, с тяжело метавшимся сердцем, бешено работал челюстями, Харитонов рядом с ним дышал еще энергичнее.

Серкин, не вынеся мучений, вдруг кинулся к двери. Ржавый с Харитоновым, вскочив, загородили ему дорогу.

— Пусти, дядя Вася! — кричал он с рыданием. — Погибаю, пойми!

Он вырывался с дикой яростью и силой. Харитонов упал, Ржавый пошатнулся — обезумевший парень ударил его кулаком в лицо. Борьба у двери оказалась толчком, вызвавшим массовую панику. Безумное желание вырваться из гибельного мешка замутило всех как внезапное опьянение. Все устремились к двери. Ржавый с Харитоновым отлетели в сторону. Две доски были мгновенно вырваны. Серкин первый кинулся в образовавшееся отверстие. Второй, уже приготовившийся прыгать, заколебался, его подтолкнули нетерпеливые руки, он отскочил. По уклону слышались нетерпеливые шаги, потом раздались и сразу же оборвались хриплые крики — призыв о помощи. Все в ужасе попятились от грозной черной дыры: шаги возвращались обратно, тяжелое тело рухнуло на землю. Серкин хрипел, булькал слюной, царапал пальцами землю. Ржавый переглянулся с Харитоновым, они широко вздохнули, словно перед прыжком в воду, и выскочили в отверстие. Серкин бился у самой двери, он с последней страшной силой вцепился в товарищей. Ржавый с Харитоновым подтащили его к дыре, с десяток рук рвануло его в гезенк. Еще больше рук схватило Ржавого и Харитонова — они перелетели над телами сгрудившихся у дыры шахтеров. Те же самые люди, что недавно выламывали доски, теперь с бешеной торопливостью прилаживали их, затыкали щели. Три человека, задыхаясь сами, яростно массировали Серкина — он приоткрыл глаза, начал дышать. Ржавый, держась за стену, медленно поднялся на ноги. Он встретил взгляд Харитонова, полный отчаяния, видел молящие глаза других людей. Он заговорил, его слушали все, окаменев, словно слова его могли дать единственно нужное — воздух.

— Товарищи! — сказал он слабым голосом. — Лежите, не двигайтесь. Воздух пока есть, будем его экономить. Нас спасут, товарищи!

И, словно отвечая ему, сквозь толщу пород пронесся далекий, глухой, отчетливый звук. И хоть воздуху было так мало, что удержать дыхание даже на секунду казалось равнозначным гибели, все тридцать шесть человек, находившиеся в гезенке, разом остановили дыхание. В напряженной тишине повторился тот же далекий, отчетливый звук, за ним стали доноситься и набегать один на другой такие же звуки. Звуки умножались, нарастали, усиливались: по штольне шли — быстро шли, бежали — люди, они стучали железом по крепи и стенам, чтобы сообщить о своем приближении. Гриценко исступленно крикнул:

— Спасатели!

А затем звуки резко и нестройно хлынули в уклон гезенка. Тяжелые удары обрушились на двери, двери были разнесены. В гезенк ворвались Мациевич и Камушкин, за ними теснились спасатели с кислородными приборами. Респираторы передавались из рук в руки, перебрасывались по воздуху, как арбузы при погрузке, люди припадали к спасительным трубкам, жадно, упоенно дышали.

Мациевич и Симак подходили к каждому шахтеру, расспрашивали о их состоянии. Некоторые чувствовали себя плохо, без помощи не могли двигаться — их уводили, поддерживая под руки. Двух — пожилого шахтера и Серкина — пришлось положить на носилки. Ржавый, Харитонов и Гриценко попросили, чтобы их захватили с собой для дальнейшего осмотра шахты, — они быстро оправились. Мациевич, подумав, согласился — и Ржавый и Гриценко прокладывали большинство из подземных ходов шахты, их помощь могла оказаться полезной.

Ржавый подошел к носилкам, на которых лежал Серкин. Измученный парень заплакал, увидев Ржавого..

— Дядя Вася, — прошептал он сипло, — прости, дядя Вася. Себя не помнил...

Ржавый погладил его по голове.

— Дурачок, — сказал он нежно. — Ну, дурачок же!..

9

Теперь Мациевич шел в семнадцатый квершлаг, он хотел ознакомиться с местом взрыва. Он освещал своей лампочкой стены, исследовал каждую трещину, лампочки сопровождавших его людей помогали ему, усиливая освещение. Над телом молодого отпальщика он размышлял несколько минут: сожженное, расплющенное, покрытое сгоревшей кровью и лохмотьями, оно распадалось от прикосновения. Мациевич сделал знак, чтоб труп оставили на месте, и прошел дальше. Мастер почти не был обожжен, смерть, видимо, наступила от удара в темя — взрывная волна бросила его головой на валок транспортера. Странным было выражение его лица: страдание переплеталось в нем с изумлением, широко раскрытыми глазами Бойков словно всматривался во что-то такое, чему невозможно было поверить. Мациевич быстро отвел от него свой фонарик — с этим человеком он пять лет проработал на шахте. Мастера тоже пока оставили на месте его гибели. Под транспортером нашелся чемоданчик Маши и обрывки ее записей, все это аккуратно собрали. Потом Мациевича потянул за руку Камушкин и показал на противоположную сторону квершлага. Мациевич перепрыгнул через транспортер. Симак, уже находившийся там, освещал своим фонариком низ стены. Мациевич склонился на колено, всматриваясь в освещенный участок. Из узенькой щелочки выбивался газовый фонтанчик, он тоненько посвистывал и посапывал, когда его заливала влага, обильно осевшая на стенах после взрыва. Это был суфляр, типичный небольшой суфляр, такой же, как многие другие суфляры, наполнявшие шахту метаном. Эта маленькая струйка метана была истинной причиной разрушений в шахте, убийцей людей — выброшенный ею в плохо проветриваемый квершлаг газ вызвал взрыв. Ни Мациевич, ни Симак, ни Камушкин не могли оторваться от суфляра, шахтеры и спасатели, стоявшие около них, не шевелились, понимая их долгое размышление, — суфляр был неожиданностью. Вчера его еще не было, он вырвался только сегодня, десятки подобных же суфляров своевременно обнаруживали и обезвреживали, этот — не успели...

Мациевич встал и вынул блокнот. Он набросал на листке приказ расчистить квершлаг, чтоб свежая струя свободно все здесь обмывала, вынося на исходящую струю выделяющийся из породы метан. Камушкин, получив приказ, отобрал нужных ему людей. С остальными Мациевич вышел на свежую струю.

У пятого штрека, где проходили восстановительные работы, Мациевич оставил последних горноспасателей. Симак заговорил, указывая на работающий отряд:

— Думаешь, они справятся, Владислав Иванович?

Мациевич покачал головой.

— Нет, конечно. Единственное, что они сумеют сделать, — поставить временную перемычку, чтобы преградить свободную дорогу газам. Здесь работы не только спасателям, даже не одной шахте — всему комбинату хватит. Придется заливать горящие выработки жидкой глиной, воздвигать десятиметровые бетонные стены — только это поможет. Ты сам знаешь: самое страшное и самое долгое зло — подземные пожары.

Симак осторожно поинтересовался:

— Ну, а о взрыве представление себе составил?

Мациевич долго молчал, широко шагая по пустой, ярко освещенной штольне. В его голосе было тяжелое раздумье. Симак смотрел с удивлением на него — Мациевич был скор на решения, он легче разрешил бы себе дерзкий поступок, обреченный на неудачу, чем сомнение и нерешительность.

— Как тебе сказать, Петр Михайлович? О том, что где-то вблизи от квершлага или даже в нем самом появился новый суфляр, я уже догадывался, спускаясь в шахту. Иначе и взрыва не могло бы быть, ты это и сам понимаешь. Другое меня смущает. Я был уверен, что причина несчастья — неосторожность отпальщиков, неисправность электрооборудования. Но мы ничего неисправного не обнаружили. А мастер Бойков — это же осторожнейший человек на свете, сорок лет работы и ни единой аварии! И вот, чем больше я обдумываю все это, тем сильнее убеждаюсь — нет причины, вызвавшей взрыв. Он немыслим и невозможен, этот непонятный взрыв, его не могло быть.

Он с вызовом повернулся к Симаку, требовал от него ответа и возражений, готовился спорить. Симак не нашел, что противопоставить такому странному рассуждению, кроме единственного и неопровержимого факта:

— Взрыв, однако, был.

Мациевич резко передернул плечами. В молчании они выбрались из шахты.

В кабинете Озерова уже не было толкотни. Волынский беседовал с шахтерами в вестибюле. Семенюк спустился под землю, он был на подземной преобразовательной подстанции. Раздраженный, хмурый Пинегин сидел на диване. Озеров вопросительно поглядел на Мациевича — он хотел услышать подробности о спасательных работах. Мациевич, сбросив каску и респиратор, коротко информировал его и начальника комбината о том, что они сделали.

— Займи мое место, — предложил Озеров. — Мы с Иваном Лукьяновичем сейчас сами спустимся в шахту.

— Я буду командовать из своего кабинета, — ответил Мациевич, вставая.

Пинегин задержал его.

— Сегодня вечером совещание по восстановлению шахты, — сообщил он, не глядя на Мациевича. — Прибудет народ со всего комбината. Прошу подготовить проект работ с тем, чтобы в самый короткий срок снова начать добычу.

Мациевич холодно поклонился и вышел. Вслед за ним удалился Озеров. Пинегин подозвал Симака.

— Прочти вот это, — сказал он, подавая набросанный карандашом приказ по комбинату.

Симак читал приказ. На шахте с сегодняшнего дня работает комбинатская комиссия по расследованию причин взрыва. Председателем комиссии назывался инженер Арсеньев, членами — химик Воскресенский и парторг шахты Симак. Симак вопросительно посмотрел на Пинегина.

— С Волынским согласовано, — негромко ответил Пинегин.

— Я не об этом. Почему один я с шахты? Разве Озеров или Мациевич меньше меня разбираются в технической стороне катастрофы? Все равно без них обойтись не сумеем. Другой должен быть состав комиссии.

Пинегин встал и принялся ходить по кабинету.

— И не обходитесь, не надо. Не только их, всех вызывайте, ко всякой дряни принюхивайтесь — пора наконец очистить самую важную нашу шахту! Я тебе скажу прямо: одно дело — вызов в комиссию для объяснений, другое совсем — член комиссии. А если по инструкции нужно еще кого, вводите, не возражаю. В технике разбираются? — бешено крикнул он, останавливаясь перед Симаком. — Вот оно, их понимание, — сегодня еще уверял нас, что безопасность полностью обеспечена. Видел, как на тебя смотрел? Волком — за то, что усомнился в его священных словах. Всех нас одуривали, хватит, больше не позволю! Потому и тебя назначил, что ты один боролся против их разгильдяйства, круговой поруки, самоуспокоенности. Сейчас с рабочими беседовал — трясутся от злости, хоть бы один сказал слово в их защиту. И какая может быть защита? Какая, я тебя спрашиваю? Люди погибли, шахта разрушена — как это можно оправдать? Знаешь, как Мациевича называют? Графом Мациевичем — прямо так в лицо мне и отвалили. Вот до чего дошло! А мы еще на их сторону становились. Ничего, с этим теперь покончено!

Он еще метался по кабинету, но бешенство его утихало. Симак не отвечал ему, он только поворачивал в его сторону голову. Он протянул Пинегину бумажку с приказом. Пинегин, немного успокоившись, сурово подвел итоги:

— Не пойми меня ложно — не для сведения личных счетов назначаю тебя в комиссию, а чтобы получить наконец объективную картину состояния шахты. Надо оздоровить шахту, выяснить причины катастрофы, с корнем их ликвидировать. Я понимаю, немало будет чисто технических факторов, только не они главные. Основные причины этого страшного дела носят имена и фамилии, в кармане у них дипломы, а часто и партийная книжка. Вот этого одного от тебя требую — поставить дело, чтобы даже близко к вашим штольням не приближалась угроза катастрофы. Ты меня понимаешь, Петр Михайлович?

— Да, понимаю, — ответил Симак.

10

И шахтный поселок, и управление, и подсобные службы напоминали гудящий улей. Шахтеры, выбравшиеся наружу, не расходились по домам, а толпились в вестибюле управления и у проходной, ожидая вестей от товарищей. Комнаты бухгалтерии и соседняя переоборудовались под пункт первой помощи. Откуда-то появились кровати, их втащили взамен убранных шкафов и столов. Комосов распоряжался выносом мебели и размещением кроватей. Из города прибыли автомашины скорой помощи с врачами и медсестрами. Были также вызваны с заводов пожарные команды со своими механизмами, пожарные забили все проходы — в шахту их пока не пускали.

Комосов, метавшийся по всему зданию, столкнулся в коридоре с Полиной. Взволнованная Полина вцепилась в него — она, как и все на шахте, знала, что бухгалтер обо всех шахтных делах имеет больше сведений, чем любой другой человек в управлении, не исключая самого Озерова.

— Николай Архипыч! — взмолилась она. — Что с засыпанными? Никого еще не откопали?

По поселку распространились слухи, что шахтеры, работавшие на нижних горизонтах, засыпаны обвалом. После второго взрыва об этом говорили, как об официальном сообщении, хотя никто такого сообщения не передавал. Комосов возмущенно отмахнулся от Полины.

— Вздор! Какие обвалы! Точно тебе говорю, попали в газ. Пока живы.

Она не отставала от него.

— Кто жив, Николай Архипыч? О Павле что-нибудь слыхал? Он не выбирался из шахты, я знаю.

— Пройдем в проходную, — предложил бухгалтер. — Только что поступило сообщение — несут первых спасенных.

Они протискались к проходной. Народу здесь было так много, что оставался только узенький проход. Первым вынесли Синева, он был уже в сознании, слабо улыбался знакомым, Комосову с Полиной даже махнул рукой. Полина с ужасом и состраданием всматривалась в его измученное, покрытое ранами и синяками лицо. Потом понесли Машу. Маша лежала с закрытыми глазами, ее черное лицо было неузнаваемо и страшно, одежда сожжена и разорвана. По толпе пробежал шепот, Комосов охнул, всхлипнул и вытер глаза. Полина отчаянно пробивалась вперед, чтоб лучше всмотреться в Машу, не могла оторвать от нее взгляда. Кто-то убежденно сказал в толпе:

— В самый огонь попала. Живого места на ней нет. Кончится, конечно.

Другой голос мрачно отозвался:

— Баба — прогулку в шахту надумала. От ее неосторожности и взорвалось. Если выживет, будет отвечать по закону.

— Правда это? — возбужденно зашептала Полина Комосову. — Насчет того, что она виновата?

Комосов ответил уклончиво:

— Кто же это знает? Маша в последний момент была с отпальщиком Бойковым, так передавали, я слушал у Озерова. У них же и взорвалось в квершлаге. Не думаю, впрочем, что она — маловероятно.

Во время наступившего получасового перерыва никто не ушел: откуда-то узнали, что обнаружены пострадавшие горноспасатели и скоро их будут выносить. Потом потянулись носилки с ранеными. Почти каждого из них знали, это был свой народ на шахте, их засыпали со всех сторон вопросами — кто не имел сил говорить и только глядел на спрашивающих, кто отвечал слабым голосом. Последним выносили мертвеца — мужчины сорвали перед носилками шапки, Полина сняла свой платок — она знала этого человека, молодого начальника горноспасательного отряда, не раз с ним танцевала в клубе. Слезы покатились у нее по щекам, она горестно шептала: «Такой хороший!» Комосов дернул ее за рукав.

— Пойдем, Полина! Узнаем в управлении, что нового.

По дороге наверх Полина пожаловалась:

— Больше всего мне за этого спасателя больно — не поверишь, какой он был скромный, слово скажет и краснеет. А таких смерть почему-то раньше всех прибирает, плохих не берет.

— Всех берет, — пробормотал бухгалтер. — И плохих, и хороших.

Теперь Полина вместе с другими толкалась около комнат, превращенных в лазарет. Она старалась проникнуть внутрь, вызывалась носить воду и помогать при перевязках. От нее досадливо отмахивались, молодой сердитый врач даже выругался — у него хватало своих медсестер, более опытных и не таких назойливых, как эта живая красивая девушка... Полина сверкнула на него глазами и убралась в вестибюль. Здесь она узнала новые подробности о несчастье. Камушкин был жив, он сам и спас Машу Скворцову, хоть чуть не погиб с нею при втором взрыве. Один из шахтеров, передававших эти новости, в прошлом незадачливый Полинин поклонник, внушительно добавил:

— Теперь твоей дружбе с Павлом крышка, Полина. Если парень спасает девушку, его от спасенной потом вилами не оттащишь — закон! И обрати внимание на его форс — после спасения побежал обратно на свой участок, отказался выходить на волю.

— Ну и правильно, что не вылез, — возразила раздосадованная Полина. Она презрительно покривила лицо. — Тебе, что ли, нужно было ему представляться? Лучше этот форс — других выручать, чем твое примерное поведение — по закоулкам прятаться.

Некоторое торжество Полина получила — сконфуженный шахтер потерялся в толпе.

Полина слонялась по этажам. Она не находила себе доеста, прислушивалась ко всем разговорам, приставала к каждой кучке. Потом все опять побежали к проходной — из шахты выходили бурильщики Ржавого и другие рабочие, находившиеся с ним в гезенке. Эти шли бодро, шутили и смеялись, только двоих пронесли на носилках. Полина все больше тревожилась — Камушкина снова не было. Вестибюль опустел, шахтеры разбредались по домам и сидели в столовой, ожидая дальнейших вестей. В просторной столовой было тесно и шумно, люди не ели, а обсуждали события. Полина забежала сюда, но сейчас же ушла назад. В коридоре мимо нее прошли Мациевич и Симак. Она поклонилась главному инженеру, он даже не взглянул на нее. Это сильно ее обидело, она отвернулась от обоих с негодованием. В таком взвинченном настроении она повстречала Камушкина — он один выходил из шахты. У нее дрогнуло сердце, когда она его увидела, подобным — страшным и истерзанным — она не могла его даже представить. Она побежала к нему и остановилась, не желая показывать ни радости, что он невредим, ни жалости к нему.

— Долго ждать себя заставляешь, — сказала она нарочито весело и развязно. — Вижу, вижу — жив!

— Жив, просто себе не верю — жив! — отозвался Камушкин. Он остановился, улыбнулся ей — старой, дружеской и доброй улыбкой, давно он так хорошо не улыбался. Полина понимала, что ему хочется поделиться событиями этого трудного дня, может быть, похвастаться своим мужеством, это и раньше с ним бывало — бахвальство. Он сказал чуть ли не с гордостью; — Ну, натерпелись мы, Полина. Метров десять протащило меня второй взрывной волной.

— И, кажется, не одного, — заметила она. — Ловко ты Машу спас. Между прочим, этому особенно не радуйся.

Это выговорилось случайно, Полина и не думала уязвить Камушкина, хотела искренне восхититься его геройским поступком. Но на нее вдруг накатило, а раз начав, она никогда не останавливалась. Она продолжала с вызовом:

— Что так выставился на меня? Я серьезно. Что человека выручил, это хорошо, никто не спорит. Но она тебя не поблагодарит. Да еще неизвестно, выживет ли. Тут слушок ходит, что если и выживет, так тоже не сладко придется — под суд ее хотят, как виновницу.

Он с укором посмотрел на нее. От усталости он не мог вспылить и разразиться ругательствами, как иногда случалось у него. И она слишком больно его уколола — грубостью это нельзя было стереть. Он проговорил тихо и горько:

— Вон ты какая! Все о тебе думал — сумасбродка, хулиганка, мир перевернешь, если не по-твоему. А ты — просто скверная!

Он отвернулся, отошел от нее. Она глядела ему вслед, прижав руки к груди. Слезы стояли у нее в глазах, она не стирала их. Потом она пошла за ним — крадучись, чтоб он не заметил.

Камушкин вошел в бухгалтерию — Маша еще лежала там. Полина притаилась за щитом с портретами лучших рабочих. Камушкин появился минут через пять. Он был мрачен и подавлен, шел не поднимая головы. От острой жалости к нему Полина снова прослезилась.

Она опять подошла к комнатам временного лазарета. На этот раз ей удалось проникнуть во внутрь. Ей дали халат и приспособили к делу. Она деятельно помогала санитаркам. Проходя мимо кровати, на которой лежала Маша, Полина останавливалась — Маша, обмытая и перевязанная, была недвижима и бледна, она по-прежнему не открывала глаз.

Полина спросила сердитого молодого врача:

— Скажите, доктор, как эта — Маша Скворцова? Очень больная?

Доктор буркнул, не глядя на Полину:

— Больше, чем очень — жизнь в опасности. Часа через два отвезем в центральную городскую больницу. — Он с недоверием посмотрел на Полину. — А вас почему она интересует?

— Понимаете, — объясняла Полина, страшно волнуясь, — подруга это моя, самый близкий человек, понимаете? Доктор, я прошу вас, только не отказывайте, ладно? Возьмите у меня кровь перелить ей, у меня хорошая кровь. Сколько надо, столько берите!

Она торопливо засучила рукав. Доктор вдруг сильно разозлился.

— Вы что — взбесились все? — закричал он. — Один предлагает кровь, другая пристает. Думаете, больше и нет крови, кроме вашей? Не мешайте работать!

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Восстановление шахты было сейчас самой важной задачей. Мациевич занимался только этим. Дело двигалось медленно. Подземный пожар начавшийся на средних горизонтах, захватывал все новые выработки, наступал на соседние угольные поля. Его вначале пытались погасить огнетушителями и искусственно нагнетаемой в очаги углекислотой, но воздух, видимо, натекал по трещинам в породе, огонь разрастался. Даже вода, грозный враг всякого пламени, тут была бессильна — чуть ли не целую реку гнали в штреки и штольни, обратно вырывался пар, а огонь неторопливо продвигался дальше. Мациевич заранее предвидел неудачу этих быстрых способов борьбы с пожаром, он именно об этом говорил с Симаком, когда они возвращались после спасения шахтеров. И если он согласилась на эти меры, не веря в них, то лишь потому, что Пинегин требовал немедленного эффекта, — нужно было ему доказать, что немедленный эффект невозможен. На одном из совещаний у Озерова, где присутствовало все городское и комбинатское начальство, — такие совещания теперь происходили ежедневно — Мациевич предложил единственно реальный метод борьбы с пожаром.

— Мы отгораживаемся от огня бетонной стеной, воздвигаем подобные стены на всех ходах, ведущих к очагам пожара, — говорил он. — В стенах закладываем стальные трубы, будем по этим трубам непрерывно накачивать жидкую глину, чтоб она затянула все трещины и оборвала доступ воздуха. Кроме того, она сама лучше воды гасит огонь. Как только воздвигнем стены, можем начинать работу. Пожар, конечно, будет продолжаться, но мы оборвем его распространение и преградим выход ядовитым газам. Такие случаи часто бывают — работают в шахтах, где бушуют изолированные, но не погашенные пожары.

Другого выхода не было, план Мациевича был принят. Теперь Мациевич торопил его осуществление.

На шахте появились два новых человека — председатель комиссии по расследованию причин взрыва Владимир Арсеньевич Арсеньев и член комиссии Алексей Петрович Воскресенский. Им отвели кабинет Мациевича, главный инженер перебрался к Озерову — их столы теперь стояли рядом. Арсеньев, по специальности инженер-электрик, работал в энергетической лаборатории комбината, заведуя там сектором высоковольтных испытаний и наладок. Это был худой, сосредоточенный и жесткий человек — он был резок и не стеснялся в выражениях, если ему что-нибудь было не по душе. Воскресенский, химик обогатительной лаборатории, человек обширных знаний, даже внешне являлся противоположностью Арсеньеву — он был невысок, толст, приветлив и добр. Отношения у Арсеньева с Воскресенским установились сразу и более уже не менялись — Арсеньев спрашивал и командовал, Воскресенский отвечал и подчинялся. Даже живой, энергичный Симак почувствовал стеснение от ледяной сдержанности Арсеньева, когда комиссия собралась на свое первое заседание.

— Я очень ценю вашу помощь, товарищ Симак, — учтиво заверил его Арсеньев. — Вы у нас единственный горняк, будем прислушиваться к вашим замечаниям. Пока я вас не задерживаю, хочу сам обойти шахту и составить представление о взрыве, потом сравним наши выводы.

С этого началось и на этом закончилось первое заседание комиссии. Симак усмехнулся, рассказывая Озерову об этом заседании: «Похвалил и отпустил, а по существу — ни слова». Озеров озабоченно слушал Симака, он предвидел неприятные объяснения с Арсеньевым — не могло быть случайностью, что председатель комиссии не пожелал беседовать с руководителями шахты. Озеров позвонил Арсеньеву, сообщил ему: «У нас сконцентрированы все данные по аварии, не хотите ознакомиться?» В ответ он услышал холодный голос Арсеньева: «Благодарю, ознакомимся немного позже». Озеров сообщил Мациевичу о странном поведении руководителя следственной комиссии. Мациевич выругался.

— Черт с ним, пусть держится, как хочет. Больше нашего он не узнает, а нам сейчас не до него. Не волнуйся, Гавриил Андреевич, придет он еще к тебе за советами и разъяснениями.

Если с руководителями шахты у Арсеньева не завязалось никаких отношений, то с Семенюком они испортились сразу. Арсеньев пришел к Семенюку вскоре после того, как тот вылез из шахты. С Арсеньевым были Воскресенский, прокурор, фотограф и милицейские работники. Арсеньев попросил Семенюка сопровождать их. Семенюк, измученный и раздраженный — он с момента взрыва не покидал шахты, — отмахнулся от Арсеньева.

— Лезьте сами, — сказал он. — Или другого попросите, помоложе. Я уже больше не могу — третий раз вверх-вниз. Дыхания не хватает.

Он утомленно закрыл глаза, привалился к спинке дивана, шумно дышал. Его большие, со вздутыми жилами руки от утомления непроизвольно подрагивали, как у пьяницы после перепоя. И лицо его походило на лицо пьяницы — одутловатое, землистого цвета, с дергающимися жилками под глазами. Арсеньев спокойно изучал это некрасивое, неподобранное лицо — он не любил таких лиц, владельцы их были обычно люди шумные, недалекие, вспыльчивые и плохие работники. Людей этого сорта — плохих работников — Арсеньев не выносил. Семенюк, удивленный долгим молчанием Арсеньева, открыл глаза.

— Я все же хотел бы, чтобы именно вы пошли с нами, — вежливо и настойчиво сказал Арсеньев. — Вы шахтный электрик. Состояние электрохозяйства имеет самое прямое отношение к катастрофе. После нашего осмотра мертвых уберут — надо нам с вами составить общее суждение, пока они еще там лежат.

Семенюк стонал, с трудом натягивая одежду:

— Боже ж мой, помереть не дадут. Ну и люди!

В шахте Арсеньев отправился в семнадцатый квершлаг, не отвлекаясь ни на что другое. Фотограф направил свой аппарат на лежавшие в том же положении трупы, стены, разбитый транспортер — прокурор был уже удовлетворен, а Арсеньев требовал все новых снимков, каждый предмет фотографировался в нескольких видах. Вместе с прокурором он внимательно исследовал внешний вид погибших, после этого приказал сейчас же вынести их. Воскресенский позвал его поглядеть на суфляр, выбрасывавший струю метана. Арсеньев равнодушно взглянул на газовый фонтанчик, понюхал его, провел над ним ладонью и лизнул палец. Внимательнее всего Арсеньев изучал остатки разбитой взрывомашинки — прибора, специально созданного для того, чтобы производить отпалку зарядов в условиях опасной газовой среды. По странной случайности провода, шедшие от взрывомашинки, не обгорели — Арсеньев прощупывал каждый метр проводов. Он приказал доставить наверх взрывомашинку и провода и повернулся к Семенюку.

— Скажите, у вас везде здесь взрывобезопасная аппаратура? — прервал Арсеньев свое долгое молчание. — Нет ли где-нибудь обычных приборов и механизмов?

— Да нет же, — уверял его Семенюк. — Все нижние и средние горизонты давно переведены на взрывобезопасность — троллеи сняты, электровозы убрали, все заменили. Что мы — первый год в шахте? Говорю вам, в километре от самого близкого суфляра, даже этот возьмем, все равно, ближе километра нет ничего взрывоопасного. А на свежей струе, повыше, конечно, имеется — реконструкция шахты не закончена.

— И телефоны взрывобезопасные? — продолжал допрашивать Арсеньев.

— Все, говорю, какой же вы недоверчивый, Владимир Арсеньич! Простой телефон — это же искра! Нет ни одного взрывоопасного телефона, даже в устье нету. Поверьте, специально следили, чтоб и возможности взрыва избежать. Все учитывали.

— Взрыв, однако, произошел, — холодно проговорил Арсеньев.

Семенюк, смешавшись, замолчал. Он пробормотал, когда Арсеньев уже отвернулся:

— Произошел, конечно. Так ведь какое наше отношение к взрыву? Лично я думаю, электротехника здесь ни при чем.

Выйдя из шахты, Арсеньев начал опрашивать рабочих, находившихся в момент взрыва в шахте. У его кабинета уже толпился народ: перед спуском в шахту Арсеньев передал секретарше Озерова список лиц, которых он хотел бы видеть. Допрос людей он проводил совместно с прокурором, но его интересовали иные вопросы, чем прокурора. После записи общих сведений — о времени взрыва, силе звука, направлении пламени, выплеснувшегося из квершлага в штольню — прокурор интересовался мнениями рабочих о причине несчастья и аккуратно записывал эти мнения, а Арсеньев расспрашивал их об отпальщике Бойкове и его напарнике — что за люди, пьющие ли, драчуны или смирные, спокойные или несдержанные. Прокурор, улыбнувшись, заметил Арсеньеву:

— Какое имеет отношение к технической стороне дела, спокойный ли человек старик-отпальщик? Это ведь вопрос его характера — разные люди ходят по земле.

— Именно, — подтвердил Арсеньев. — Совершенно разные люди. Одни могут допустить неосторожность, другие — нет. Сейчас самый важный вопрос расследования — соблюдали ли эти рабочие все правила работы в газовой среде или не соблюдали, надеясь, что метана тут нет. А это в первую очередь определяется характером человека.

Не удовлетворившись расспросами рабочих, Арсеньев затребовал из отдела кадров личные дела погибших отпальщиков и Маши. Он долго изучал пухлые папки и делал пометки. Прокурор больше вопросов Арсеньеву не задавал — даже в непосредственно его, прокурорскую, область этот инженер-электрик вникал глубже, чем он. Особенно долго размышлял Арсеньев над бумагами Маши, подобранными на месте катастрофы. Записи работы Ржавого показались Арсеньеву малоинтересными, это были обычные хронометражные наблюдения с пояснениями и пометками. Но от небольшого листочка, относящегося к отпальщикам, Арсеньев не мог оторвать глаз. На этой смятой, полусожженной бумажке сохранились только заголовок и фраза: «...отпальщик вдруг заторопился», все остальное было скрыто слоем грязи и копоти. Арсеньев чувствовал, что запись эта имеет непосредственное отношение к происшествию, она, видимо, была совершена как раз перед самым взрывом и потому не доведена до конца. Почему же отпальщик заторопился? Может быть, он увидел нечто, что грозило бедой, и стремился ее предотвратить? Или, наоборот, само несчастье явилось следствием его неразумной торопливости — не на это ли указывает слово «вдруг»? Возможно и третье — он заторопился просто потому, что пришло время начать работу, тогда «вдруг» означает лишь, что он прервал свое вынужденное ничегонеделание и приступил к делу.

— Некоторые рабочие ставят катастрофу в связь с тем, что Скворцова проводила в шахте хронометраж, — сказал Арсеньев прокурору. — Прямо этого никто не утверждает, но что мнение такое есть — чувствуется. Нужно это обстоятельство серьезно расследовать. К сожалению, Скворцова больна. Придется допросить Синева и Камушкина.

Синев лежал в единственной маленькой палате поселковой больницы. Его не перевезли в городскую больницу, куда отправили Машу и раненых горноспасателей, — никаких серьезных повреждений у него не обнаружили, только несколько ушибов. Но он еще не оправился от потрясения и был слаб. Он рассказал, как шел по штольне, когда из семнадцатого квершлага вырвалось пламя, как он сперва бежал от огня, потом пытался прорваться сквозь зону пожара, но не сумел, как он кричал около самого квершлага и никто не отозвался. На вопросы о записях Маши он не мог ничего ответить.

Более обстоятельными были показания Камушкина. Он сообщил, как провел Машу в квершлаг и предупредил ее, что удаляться оттуда сейчас нельзя.

— Бойков сидел на камне, — вспоминал Камушкин. — Около него просто на земле расположился Сергей, его напарник. Скворцова тоже присела, это хорошо помню. Бойков сказал, что до отпалки не меньше часу: как всегда, он будет ждать сигнала, что можно начинать. Впечатление у меня было такое, что он не торопится и будет болтать со Скворцовой. Бойков был старик разговорчивый. Уходил я совершенно спокойный, а минут через двадцать грохнуло.

Арсеньев протянул ему запись об отпальщике.

— Как, по-вашему, что это такое? Почему он стал торопиться?

Камушкин ответил не сразу.

— Не знаю, — проговорил он наконец. — Технических причин для торопливости у него не было, сигнал еще не подавался. Может быть одно — Бойков разрешил ему начать подготовку, ну, он и старался показать, как все спорится у него в руках.

— Это возможно, — согласился Арсеньев. — Напарник, судя по всем данным, парень исполнительный и работящий. Кроме того, он молод. Такой под взглядом хронометражиста, да еще интересной девушки, конечно, покажет максимум того, что умеет. Скажите, а мог ли он что-нибудь предпринять без разрешения мастера?

— Нет, конечно. Режим у нас строгий. Да Бойков и не такой мастер, у которого можно вольничать, — крутой был старик...

— Еще один вопрос. Считаете ли вы, что Скворцова имеет какое-нибудь непосредственное отношение к взрыву? Скажем, совершила недозволенное действие или заставила его других совершить?

— Ни в коем случае, — твердо сказал Камушкин. — Она ни во что не вмешивалась, только смотрела и записывала, так было перед тем, у Ржавого, так было и у них, в квершлаге. Да она и сказала бы мне, если бы что-нибудь от ее действий...

— Вы, кстати, не разговаривали с ней об этом — о причинах взрыва? Вы ведь, кажется, вынесли ее на руках из опасной зоны? И она была тогда в сознании?

— Об этом не говорили, — признался Камушкин. — Не до того было — черти гнались за плечами... Не до разговоров о причинах...

— Жаль, очень жаль, что этого вы с ней не коснулись — многое стало бы более ясным. Самое главное вы, впрочем, нам сообщили — отпальщики ожидали сигнала и в принципе торопиться не собирались.

Вечером того же дня в кабинете Озерова на расширенном заседании партбюро шахты — на это заседание приехали Пинегин и Волынский — Арсеньев докладывал предварительные выводы. Он подробно изложил свое понимание разразившейся катастрофы. Взрыв стал возможен потому, что в семнадцатом квершлаге — то есть подземном ходе, проложенном по пустым породам, — где сидели отпальщики и Скворцова, неожиданно забила из недр земли струя метана. Рабочие, судя по всем данным, не подозревали о появлении метана рядом с ними. Почему произошел взрыв? При любом несчастье всегда выдвигается предположение о злом умысле. Это предположение — обычно первое, но самое маловероятное. Злой умысел невозможен уже хотя бы потому, что люди, замыслившие его осуществить, должны были сами погибнуть и не могли об этом не знать — о неизбежности своей гибели. Таким образом, на этой стороне расследования он больше останавливаться не будет. Что остается? Второе предположение — неосторожность отпальщиков.

Это предположение следует самым тщательным образом изучить. Все собранные им, Арсеньевым, материалы свидетельствуют об одном — отпальщики полностью соблюдали предписанную осторожность. Бойков, мастер, сорок лет провел под землею, у него не было ни единой аварии за всю его жизнь, все знавшие его отзываются о нем, как о человеке удивительной аккуратности, сдержанности и неторопливости. Он хорошо знал, какая опасная среда в шахте и чем грозит самая маленькая неосторожность. Его напарник был человек такого же характера, кроме того, он во всем подчинялся своему мастеру, без его санкции не мог ничего предпринять. Это, так сказать, общие соображения, есть и более прямые. По словам начальника участка Камушкина, мастер Бойков предупреждал его, что раньше чем через час они не начнут свою работу, так как будут ждать сигнала, разрешающего приступать к отпалке. Таким образом, отпальщик уверял, что не собирается нарушать строгие правила работы — очевидно, так оно и было. Взрыв произошел через несколько минут. Что могло быть его непосредственной причиной? Только появление огня. Вспышка пламени в насыщенной метаном атмосфере вызвала взрыв. Что-либо иное, кроме пламени, исключено — метан сам не взрывается и не загорается, как, например, уголь, его нужно предварительно поджечь. Что же это было за пламя, вызвавшее взрыв и притом так скоро после ухода Камушкина? Употребление зажигающих веществ или предметов, например спичек, заранее отпадает — все трое, находившиеся в квершлаге, некурящие, все они расписались при входе в шахту в журнале диспетчера, что не проносят с собою ничего огнеопасного. Кроме того, это свидетельствовало бы о совершенно непростительной и грубой неосторожности, а ранее он, Арсеньев, доказал, что неосторожность у погибших невероятна. Остается последнее и, видимо, окончательное — искра, внезапно пролетевшая в газовой атмосфере квершлага. Тут возникают естественные вопросы — какая искра, почему она пролетела? Как могли создаться условия, породившие эту смертоносную искру? Точный ответ на эти вопросы, возможно, дал бы единственный уцелевший свидетель катастрофы — Мария Скворцова. К сожалению, Скворцова очень слаба после операции, у нее жар и бред, к ней никого не пускают. По сообщению врачей, пройдет немало времени, пока она заговорит, сможет понимать вопросы и отвечать на них. Следовательно, придется искать решение независимо от нее. Итак, искра, ничто другое. Искры бывают разные. Очень сильный удар одного железного предмета о другой или о камень также может породить искру. Подобная искра в рассматриваемой нами обстановке маловероятна. Люди сидели, мирно разговаривали, с чего им безумствовать, бить железом о железо? Нет причин для подобной глупости. Запись Скворцовой о торопливости отпальщика относится, видимо, к тому, что он встал и начал подсоединять провода, работал быстро. Ничего, кроме этого — подсоединения проводов, — он не мог делать по самому существу своей работы. Из всего изложенного следует, что искра была электрической природы. Электрическая искра может пролететь неожиданно, и ее достаточно, чтобы породить взрыв. Что необходимо для возникновения электрической искры, без чего она не может появиться? Как это ни печально, он, Арсеньев, должен говорить начистоту — в хорошо поставленном энергохозяйстве, использующем надежные взрывобезопасные аппараты, не может быть никаких незаконных искр. Он осмотрел телефоны, кабели в непосредственной близости от места взрыва. Прямых признаков непорядка пока найти не удалось. Однако то, что взрыв произошел, свидетельствует об одном: где-то в энергохозяйстве шахты гнездится глубокий, серьезный порок. Это — предварительное мнение, конечно, его нужно подтвердить прямыми доказательствами, но он, Арсеньев, и сейчас берет на себя смелость высказать его со всей прямотой.

Арсеньев закончил и сел. И аргументация его и окончательный вывод произвели глубокое впечатление на собрание — он словно не речь держал, а вбивал гвоздь, каждая фраза казалась ударом молотка по шляпке гвоздя. Теперь гвоздь был забит до отказа, вытащить его невозможно — все было неопровержимо. Мациевич сидел мрачный. Землисто-серое лицо Семенюка стало бледным, во все углы обширной комнаты доносилось его громкое прерывистое дыхание.

Пинегин обратился к Арсеньеву:

— Эксплуатация оборудования на шахте, конечно, не на высоте, иначе такие безобразия, как этот взрыв, были бы немыслимы. Против этого вашего вывода не спорю. Однако он недостаточен. Нам нужно знать конкретную причину взрыва, чтобы вырвать ее с корнем, как больной зуб. Можете вы сегодня сказать нам, отчего вспыхнула или пронеслась эта проклятая «искра электрической природы»? В чем именно прошляпили шахтные электрики?

Арсеньев снова поднялся.

— Нет, сегодня сказать не могу. Нужно внимательно все обследовать. На это требуется время. Я ищу.

2

Арсеньев искал. Он спускался в шахту, бродил по опустевшим штрекам и штольням, подолгу задерживался у каждого аппарата. Это не было беспредметное блуждание, поиски его преследовали твердую цель — обнаружить небрежности, запущенность и прямое нарушение электротехнических правил. И так как в самом идеальном хозяйстве не обходится без просчетов, то он находил много такого, что можно было занести в свой блокнот как несомненный непорядок. Он не придирался, он знал, что непорядок непорядку рознь — не, всякий может привести к катастрофе. Первое время его сопровождал Семенюк, потом Семенюк сослался на занятость и прикрепил к Арсеньеву одного из своих мастеров. Это не улучшило отношений между Семенюком и Арсеньевым — строгому председателю следственной комиссии начинало казаться, что энергетик шахты ленив и боится вопросов, ибо плохо разбирается в своем хозяйстве. «Кабинетный работник, — беспощадно думал Арсеньев, всматриваясь в нездоровое лицо Семенюка. — Участками руководит по телефону; даже в такой ответственный момент, как выяснение причин тяжелейшей аварии, его под землю не заманить. И пьет, конечно, как лошадь, по всему видно».

Комиссия заседала ежедневно. Симак нервничал. Он наседал на Арсеньева.

— Мациевич заканчивает перемычку, — твердил он. — Зальют последнюю бочку цемента — нужно начинать работу. А мы ничего не выяснили по-настоящему. Выходит, неизвестная причина, вызвавшая взрыв, в любой момент может привести к новому взрыву. Это же камень, висящий над головой, поймите, товарищи. И раньше люди испытывали страх, а мы их разубеждали. Что же теперь им скажем?

— А вот это самое и скажете, что страшно спускаться в шахту, — холодно советовал Арсеньев. — Меня интересует точное выяснение всех обстоятельств несчастья, а не что нужно сказать людям в то или другое число. Придет время, сами будем знать и с вашими людьми поделимся своим знанием.

Наступил момент, когда ему показалось, что он нашел причину катастрофы. Он обнаружил, что изоляция кабелей, питающих энергией подземные механизмы, в некоторых местах повреждена. Это был, конечно, непорядок, и серьезный непорядок. Арсеньев показал сопровождавшему его мастеру на оборванную изоляцию. Тот улыбнулся, качнул головой и спокойно положил руку на поврежденное место.

— Ничего особенного, — заявил он уверенно. — Вы думаете, на одной нашей шахте такие штуки? Кабелей всюду не хватает, а износ неизбежен. Не закрывать же шахту оттого, что кабелек немного пообтреплется? Вы видите, я рукой дотрагиваюсь — никакой опасности!

— Во всяком случае, в моем присутствии больше таких опытов не проделывайте, — раздраженно возразил Арсеньев. — Иначе мне придется поставить вопрос, правильно ли вам присвоили вашу пятую категорию по технике безопасности.

Все же дерзкий поступок мастера смутил Арсеньева. Встревоженный и рассерженный, он стоял перед удивительными кабелями, в которых таилась смерть и которые были безвреднее дождевого червя. Было немыслимо представить себе, что тонкая изоляция, отделявшая многие сотни вольт потенциала от наружного мира, еще несет свою службу. По всем законам науки, по всем правилам практики эти кабели должны быть давно пробиты, превращены в пламя и дым мощными силами, вырвавшимися из-под их охраны. А они тянулись по стене, черные, покрытые сверху лаком, бронированные двумя стальными лентами, ничто не указывало на их близкий конец, ничто не свидетельствовало об опасности, разлитой по их поверхности, — человек дотронулся до поврежденного места рукой и остался в живых, не вспыхнул, не завопил, извиваясь в судороге. Тут снова Пыла загадка, такая же странная и неожиданная, как и вся эта катастрофа. Одна тайна превратилась в другую, не менее темную.

Арсеньев был опытный инженер, он понимал, что можно представить только один случай, когда жалкие остатки поврежденной изоляции являются неодолимой преградой для несущихся внутри кабеля мощных электрических потоков, — тот случай, если внешняя броня кабеля не заземлена. Но это само по себе было таким крупным нарушением правил, что, несмотря на всю свою неприязнь к Семенюку, Арсеньев допустить его не мог. Было и другое, еще более веское соображение — случай этот можно было теоретически рассматривать, в практике же он никогда не встречался.

— Выкладывайте ваши секреты, — хмуро приказал Арсеньев мастеру. — Что-то мне кажется, у вас плохо с заземлением этого кабеля.

На это последовал неожиданный ответ:

— А у него вообще нет заземления. И никогда не было — ни хорошего, ни плохого.

— Да вы с ума сошли! — крикнул сдержанный Арсеньев. — Сами-то вы понимаете, что делаете? Вы сознательно подвергаете опасности жизнь сотен людей! Вот он, результат вашей безграмотности, — убитые и раненые, полуразрушенная шахта!

Струсивший мастер стал оправдываться:

— Моя хата с краю, товарищ Арсеньев, так распорядился Семенюк — не заземлять, ну, мы и не заземляли. Кто же против приказа начальства пойдет?

— А если начальство прикажет вам шахту взорвать? — жестко спросил Арсеньев. — Очевидно, вы немедленно взорвете, а потом станете оправдываться — ничего не поделаешь, приказ начальства! Так, что ли, нужно понимать ваши слова?

Мастер молчал, опустив голову: он боялся из-за неосторожного слова попасть в неприятную историю.

Арсеньев был потрясен. Всего мог он ожидать, только не такого наглого попирания правил техники безопасности. Он сам проверил слова мастера. Он затребовал по шахтному телефону, чтобы ему спустили вниз измеритель заземления. Он подключал через прибор кабель ко всем окружающим предметам — рельсам, телефонным жилам и тросам — и проверял, как все они соединены с землей. Результат был один — и броневая оболочка кабеля и все эти предметы были изолированы от земли так, словно стояли на фарфоровых изоляторах. Защитное заземление, предохранявшее людей от попадания в высокое напряжение, заземление, без которого никто не имел права пускать в ход ни одну электрическую линию и машину, здесь, на этой шахте, полностью отсутствовало.

Арсеньев прошел к Семенюку. Энергетика не было. Дежурные монтеры сообщили, что Семенюк ушел домой. Арсеньев взглянул на часы. Было четыре часа дня, до официального конца работы оставалось еще два часа. Если требовалось еще что-нибудь, чтобы полностью вывести Арсеньева из себя, то ранний уход Семенюка произвел именно это действие. Уход этот был непонятен и возмутителен. На шахте разразилось крупное несчастье, таинственная беда подстерегала в каждой штольне и штреке, грозила новыми катастрофами, а один из ответственных работников показывал — явно, вызывающе показывал, — что ему плевать на все. Его же, этого работника, происшествие на шахте касалось ближе, чем любого другого.

— Что, может, начальник ваш ночевал сегодня в шахте и поэтому так рано убрался? — допрашивал Арсеньев монтеров.

Те переглядывались и пожимали плечами, об Арсеньеве уже все знали, что с ним надо держать ухо востро: строг человек.

— Да нам ничего неизвестно, сами только что явились на смену, — отвечали они неопределенно. — Вроде бы и не ночевал здесь товарищ Семенюк. Вообще-то он по утрам приходит. Здоровье у него... следит, конечно...

Арсеньев прошел в кабинет, отведенный комиссии, и задумался. Он вспомнил свой разговор с Пинегиным, когда тот назначил его в эту следственную комиссию. «Всех выводи, которые виноваты! — настойчиво говорил начальник комбината. — Всех шляп и ротозеев — фамилии, должность, — понимаешь?» Он сухо ответил тогда: «Буду заниматься техническими причинами катастрофы, ни к кому в паспорт не полезу!» Оказывается, приходится лезть в паспорта — технические причины катастрофы ходят на двух ногах и занимают хорошо оплачиваемые должности.

Он разложил перед собой стопку бумаги и сел писать официальное заключение. Все было логично и просто. Картина происшедшей катастрофы была ему ясна в любой детали. Из-за плохой изоляции кабеля на его броне появилось высокое напряжение. Так как кабель не заземлен, пробоя не произошло. А когда отпальщик прилаживал свои провода, между броней кабеля и коснувшимся ее проводом проскочила искра. Эта искра вызвала взрыв хлынувшего из земных недр метана. Таковы объективные условия, породившие катастрофу. Сами ли создались подобные условия или кто-то несет за них ответственность? Нет, сами они не могли появиться, их создали. Чем создали? Бесхозяйственностью, невежеством, преступно легкомысленным отношением к порученному им делу. Он не будет подбирать округлых выражений, он именно это слово и употребит: «преступное отношение». Кто именно допустил подобное отношение к своему делу, на ком лежит вина за гибель людей и разрушения в шахте? Непосредственный виновник, первый виновник — главный энергетик шахты по фамилии Семенюк, это была его область, он ее запустил. Но он не один. Он даже не самый главный из виновников. Над ним стоит Мациевич, главный инженер, человек, отвечающий раньше всех и больше всех за безопасность каждого своего рабочего. Человек этот всюду твердил, что безопасность шахты полностью обеспечена, он проглядел творившуюся у него под носом возмутительную бесхозяйственность и нарушение самых элементарных правил эксплуатации оборудования. Смягчающих обстоятельств для них нет. Их высокие должности не допускают смягчающих обстоятельств, они не могли не знать, что делают.

Арсеньев твердо расписался. Он понимал значение того, что было им написано. Материал, собранный им, неопровержим. Людей, которых он называл, привлекут к уголовной ответственности. Они будут осуждены. Жесток закон, но — закон, так говорили еще римские юристы. Совесть его, Арсеньева, чиста. Виновные должны страдать, чтобы не страдали невинные.

В комнату на очередное заседание комиссии вошли Симак и Воскресенский.

3

Симак вопросительно поглядел на Арсеньева — у того было торжественное лицо человека, завершившего с успехом долгие и трудные поиски. Симак радостно осведомился:

— Неужели прояснилось дело, Владимир Арсеньевич?

Арсеньев подтвердил, положив руку на написанное им заключение:

— Да, кажется, все основное стало ясным. Прошу вас внимательно выслушать.

Он подробно рассказывал о своих осмотрах и находках, о разговоре с мастером, о сделанных им выводах. Потом он протянул членам комиссии заключение. Симак с Воскресенским склонились над листами, исписанными аккуратным острым почерком Арсеньева. У Симака дрожали от возбуждения руки, он побледнел. Воскресенский был более спокоен.

Симак взволнованно поглядел на невозмутимого Арсеньева.

— Вы хотите, чтоб я подписал это заключение?

— Да, конечно, — отозвался Арсеньев. — И вы и Алексей Петрович. — Он кивнул на Воскресенского. — Без ваших подписей заключение недействительно.

— Я его не подпишу, — твердо сказал Симак. Он вдруг схватил листки бумаги, смял их и запальчиво закричал: — Вздор это, а не заключение, понимаете, Владимир Арсеньевич? Не в ту сторону направляетесь!

Теперь побледнел и Арсеньев. Он не ожидал такого отпора. Он не шевельнулся на стуле. Глаза его уставились в возбужденное лицо Симака. Арсеньев проговорил ледяным голосом:

— Прежде всего я не понимаю, что это за метод — рвать чужие бумаги. Не согласны — объясните свое несогласие. А бушевать, по-моему, незачем.

— Да, рвать — это дело лишнее, — вставил свое слово Воскресенский. Он с усилием наклонился и достал с полу брошенное Симаком заключение. — Мне тоже пока не все ясно в выводах Владимира Арсеньевича. Что же, драться из-за того?

Симак опомнился. Он был вспыльчив, не всегда умел сдерживаться, но быстро отходил. Вместе с тем он был настойчив — не менее настойчив, чем Арсеньев. Он понимал, что предстоит долгий и тяжелый спор. Аккуратно разгладив смятые листки и протянув их Арсеньеву, Симак сказал, как умел, мягко:

— Простите, Владимир Арсеньевич, от неожиданности немного погорячился. Это у меня временами бывает, не обращайте внимания. Давайте побеседуем по душам.

— Вот это уже лучше, — враждебно проговорил Арсеньев. — Будем беседовать не по душам, а по интересующему нас вопросу. И согласно требованиям логики, а не на волнах неорганизованных эмоций. Вы заявили, товарищ Симак, что я не в ту сторону направился. Я этого не понимаю. Я вообще неспособен понять, что означает этот странный термин — «сторона расследования». Я ищу причину катастрофы, чтобы впредь они не повторялись на шахте, а не обдумываю, куда можно идти, а куда не рекомендуется заглядывать. Я техник, а не дипломат.

— Конечно, конечно, — поспешно согласился Симак. — Я против вашего метода поисков не спорю — правильный метод. И дипломатия в таких важных делах недопустима. Единственное, против чего я сразу и решительно возражаю, это ваши выводы.

Арсеньев остановил его.

— До выводов мы доберемся. Не будем торопиться. Раз уж у нас возникли разногласия, рассмотрим все. по порядку. Мое заключение распадается на две части. В первой я анализирую состояние электрохозяйства на шахте и показываю, что в нем имеются вопиющие, преступные нарушения всех правил и что именно они...

— Уж и преступные, — усмехнулся Симак. Он уже полностью справился со своим волнением. — Почему такие решительные формулировки? Я лучше вас знаю Семенюка и Мациевича, я не могу допустить, чтобы они были виновны в преступлении.

— А я их совсем мало знаю, — возразил Арсеньев. — И считаю, что в этом мое преимущество перед вами, — никакие приятельские отношения не путают меня, я оцениваю людей только по их делам. Вот смотрите, — он достал из стола небольшую книжку, — правила безопасности при горных работах. Здесь есть глава «Защитное заземление в угольных шахтах». Я вам прочитаю из нее самое существенное. На каждой угольной шахте полагается иметь центральный стационарный заземлитель с сопротивлением растеканию тока в земле не выше одного ома. Ничего этого нет, вы понимаете, товарищ Симак, ничего! Вы, возможно, скажете в ответ, что его очень сложно оборудовать, этот стационарный заземлитель. И это не так. Я прочитаю вам другое место. Стационарный заземлитель представляет всего лишь стальной лист, забитый в подходящем месте, а участковые заземлители — обычные луженые или освинцованные трубы. Теперь я спрашиваю вас, товарищ Симак, неужели так трудно достать на шахте кусок обычной водопроводной трубы и подтянуть к ней несколько проводов? Почему это не сделано? Ведь от этого зависит безопасность людей, спускающихся под землю! Ответьте мне, товарищ Симак, как осмелился ваш электрик нарушить это строжайшее правило?

Он с вызовом и возмущением кинул эти слова в лицо Симаку, он уже не мог сдержать бушевавшего в нем негодования.

— Не знаю, — ответил Симак ласково и серьезно. — Совершенно не знаю, Владимир Арсеньевич, почему на шахте нет заземления: я не электрик, я не могу отвечать вам на такие технические вопросы. Но это может сделать Семенюк, он, конечно, знает, отчего заземление отсутствует. Вы разговаривали с Семенюком?

— Я еще не научился разговаривать с людьми, которых нет, — сухо возразил Арсеньев. — Я заходил к главному энергетику, но этот человек уходит домой, когда ему вздумается, его уже не было на месте. Я, впрочем, не считаю, что обязательно добиваться от человека признания его вины. Вина должна быть доказана объективными данными, независимо от признаний или отрицаний человека, только такая вина серьезна. Признание! Люди, бывало, признавались в том, что они колдуны и ведьмы и даже бесы, случаев такого рода немало — рога от этого признания у них на лбу, однако, не вырастали. Факты, открытые мной, вполне объективны — никакие разговоры с Семенюком или с кем другим не изменят того прискорбного обстоятельства, что электрические механизмы эксплуатируются на шахте без заземления.

— Вы поговорите с Семенюком, — настаивал Симак. — Обязательно поговорите, Владимир Арсеньевич. Я уверен, что он расскажет вам что-нибудь такое, что изменит ваше отношение. Я не знаю, почему шахта эксплуатируется без заземления, это правда. Но я уверен в Мациевиче и Семенюке, как в самом себе. Они не могут не понимать того, что вы так убедительно доказываете. А безопасность шахты им так же дорога, как и всем нам, во всяком случае не меньше.

Арсеньев долго глядел на Симака. Он обдумывал его возражения. Воскресенский, не вмешивавшийся в их спор, с тревогой переводил глаза с одного на другого. Арсеньев сказал принужденно и недовольно:

— Сейчас предмет нашего спора — технические причины катастрофы, а не оценка характеров людей. Однако и тут ваши позиции не обоснованы. Раз вы этого хотите, поговорим об этом. Товарищ Пинегин, информируя меня о положении на шахте, рассказал о ваших спорах с Мациевичем. Отзвуки этих споров я потом находил в протоколах технических совещаний и собраний на шахте — вы знаете, что я просматривал их за несколько лет. Вы обвиняли Мациевича в том, что он запустил работы по обеспечению безопасности шахты, вы настаивали на форсировании этих работ — разве не так? Вы предвидели случившуюся катастрофу — заранее, до того, как она разразилась, у вас тогда не было сомнений, кто будет виноват в ней, если она разразится. И вот ваши мрачные пророчества осуществились — и взрыв произошел, и люди погибли, и шахта разрушена. Теперь бы вам обрушиться на этих людей, против которых вы так умно и проницательно боролись, ведь вышло по-вашему, как вы этого не хотите понять? А вы неожиданно берете под свою защиту своих же врагов, невежд и проходимцев, чтобы не сказать больше.

— Нет, — ответил Симак, качая головой. — Нет, Владимир Арсеньевич, это не так. Неправильно вы толкуете мою позицию, совсем я этого не думал, что вы мне приписываете. Не о том мы спорили с Мациевичем, грозит ли что-нибудь жизни людей, спускающихся под землю. Если бы я был убежден, что над жизнью наших рабочих нависла опасность, что они могут в любой момент погибнуть, разве я так бы боролся? Да никогда! Я потребовал бы снятия Мациевича с работы, добился бы отдачи его под суд за пренебрежение безопасностью — вот как бы я действовал, поверьте! Но я был уверен, как и Мациевич, ничуть не меньше, чем он, что безопасность обеспечена, что людям нашим — реально, технически, если уж говорить по-вашему, — ничего не грозит. Я только указывал, что люди сами не уверены еще в своей безопасности. Они ведь не знают всего, что знает главный инженер, вот и надо скорее закончить реконструкцию, чтобы не было больше никаких поводов для тревоги. А это другое, Владимир Арсеньевич, совсем другое!

Он помолчал, он выговорил все это разом и поспешно, нужно было собраться с новыми мыслями. Теперь он не так торопился, голос его стал тверже. Арсеньев хмуро слушал его, не прерывая.

— Проходимец — это Мациевич-то? Вздор! Я все скажу — нет у нас более знающего человека, чем Мациевич. Чего он не знает, того никто не знает — вот правда о Мациевиче! Характер собачий, горд и заносчив — верно! Ему самому нелегко с таким характером жить. Но — умница! Если Пинегин его снимет, назначит другого, шахта потеряет, много потеряет от этого. Вы сказали — мои враги. У меня нет врагов на шахте. И Мациевич мне тем более не враг. Конечно, ругались с ним — как не ругаться, если что-нибудь идет не так, как тебе хочется? Я с вами тоже спорю, никогда не соглашусь с подобным заключением — разве мы враги с вами? — Симак закончил убежденно: — Подумайте еще, Владимир Арсеньевич, скороспелы они, ваши выводы. Я сам тороплю вас, но не для того, чтобы обвинить невинных людей, такая торопливость никому не нужна.

Арсеньев взял свое заключение и сложил листки один к одному, потом свернул их и положил в карман. Лицо его было спокойно, только голос выдавал раздражение и недовольство:

— Выводы наши должны быть единогласны, иначе цена им невелика. Хорошо, товарищ Симак, я постараюсь вас убедить, отложим на время этот разговор. Вам — уже неофициально — замечу: вас ослепляет ваше хорошее отношение к людям, вы ищете в них только лучшее, а в людях, между прочим, бывает и плохое, этого, пожалуй, даже больше. О Мациевиче не скажу — я от других тоже слышал, что он крупный специалист, хотя не очень этому верю. Но как вы укрываете под свое мощное крыло такого человека, как Семенюк? Я наблюдал его всего несколько дней, и иногда и часа достаточно, чтобы понять существо человека. Это же лентяй, он избегает лишний раз спуститься в шахту, его с дивана трудно поднять. Вы на лицо его посмотрите, на его мутный взгляд, дрожащие руки, красный нос — никогда не видел более определенных признаков отъявленного пьяницы...

Арсеньев, изумленный, прервал свою желчную речь. Симак медленно поднимался из-за стола. Он побагровел.

— Да как вы смеете? — сказал Симак шепотом, — Как смеете вы позорить человека, которого совсем не знаете? У меня спросите, у меня — я вам скажу, кто такой Семенюк, без ваших глупых внешних признаков! — Он сдержал гнев, заговорил спокойно и холодно: — Прежде всего этот человек двадцать пять лет на шахтах, все шахтерские должности прошел, пока стал главным энергетиком, — учился без отрыва от производства. Он попадал в подземные обвалы, взрывы, наводнения — советую вам поговорить об этой стороне его жизни, очень будет вам интересно. А сейчас он инвалид второй группы, он болен, он тяжело болен — у него недавно был инфаркт, все время повышенное давление. Ему бы лежать да лежать: и право есть и пенсия приличная — не может. Не может он жить без шахты, Владимир Арсеньевич, — этот лентяй, по-вашему. И последнее, чтобы закончить этот неприятный разговор: не то что водки, даже пива не пьет Семенюк, никогда не пил, с юности.

— Я этого не знал, — сказал Арсеньев, стараясь не глядеть на Симака.

4

Мациевич, задумавшись, шагал по кабинету Озерова — восемь шагов от двери к столу, восемь шагов от стола к двери. В управлении было пусто, служащие давно ушли. Озеров тоже отправился домой. Мациевичу было некуда идти, он не любил своей тесной одинокой комнатки, даже книги держал на работе. Здесь проходила его истинная жизнь, он иногда и спал на своем служебном диване. Он заперся у себя с вечера, как только выбрался из шахты, ходил уже второй час по кабинету, не уставая, а ничего другого так и не хотел, как этого — крепко, сладко, полно устать. Ему нужно было уйти от себя, от своих беспощадных мыслей, от своих горьких чувств, это была трудная и кривая дорожка, не просто было идти по ней — от себя.

Все дело было в том, что напряжение последних дней вдруг схлынуло. Перемычки, отрезавшие район подземного пожара от шахты, были возведены. Углекислота более не отравляла воздух в выработках. Разрушения, произведенные взрывом, были исправлены — шахта могла завтра-послезавтра начинать работу. Все это было сделано надежно, прочно. Мациевич знал, что комиссия, составленная из специалистов с других шахт, примет его работу с наивысшей оценкой, даже Пинегин, относившийся к нему по-прежнему враждебно, должен будет отметить ее в специальном приказе.

Не это его мучило.

Он возвращался мыслями все к тому же — к подземной катастрофе. В эти дни напряженной работы, когда все время приходилось быть на людях, командовать и управлять, рассчитывать и подталкивать, было не до анализа несчастья, хватало иных забот — ликвидировать его последствия. Мациевич даже сказал себе: «Ладно, комиссия по расследованию создана, она все разъяснит, выводов своих скрывать не будет — потерпи!» Он не мог терпеть, каждую свободную минутку он думал о взрыве. Сегодня же, после окончания восстановительных работ, все минуты были свободны — целый вечер, предстоящая ночь. И все больше Мациевич понимал, что наступает перелом самой его жизни: катастрофа разразилась не только в семнадцатом квершлаге, это была также его личная катастрофа, он сам потерпел крушение.

Он и вправду так думал, как сказал в штольне Симаку, — взрыв был немыслим, хоть он и произошел. Мациевич ставил себя на место отпальщиков, старался представить все, что они могли, сделать, что могла делать Скворцова, эти воображаемые их поступки были то рациональны и необходимы, то ненужны и нелепы, их объединяло одно — они не могли вызвать катастрофу. Мациевич разговаривал с Камушкиным, упрекал его, как и Арсеньев, что он не разузнал у Маши, пока она была в сознании, как произошло несчастье. Камушкина теперь со всех сторон упрекали в этом, он и сам понимал свою оплошность. Мациевич был опытный инженер, умный и проницательный, он беспощадно установил: «Взрыв был. Моих знаний не хватает, чтобы открыть его причину. Значит, они малы — мои знания». Он теперь по-иному оценил самого себя — суровой и горькой оценкой. Это была новая оценка, он привык к другой, все до сих пор утверждало его в той, прежней, ныне неверной — высокой оценке своих знаний, своего опыта, своего умения. Он не был самовлюблен, не всем в себе восхищался, но это — специальные свои знания инженера — ставил высоко, тут был истинный корень его высокомерия и гордости. Он гордился не только тем, что больше знает, чем окружающие его, это было не так уж много. Еще больше он гордился тем, что знает все ему необходимое, что у него не может быть загадок в работе. И этой гордости приходил конец — в области, которой он руководил, произошло страшное несчастье, а он не понимает, почему оно произошло, не может ли оно завтра повториться. Как же смеет он оставаться руководителем? Имеет ли он право требовать, чтобы люди спокойно вверяли ему свои жизни, если он не знает, как их охранить от опасности? Он задавал себе эти вопросы ежеминутно. Он словно уменьшался в своих собственных глазах. И все чаще Мациевич отвечал себе на эти вопросы — нет, маленький и неспособный, он не годится для занимаемой им высокой должности.

А за этим выводом нескончаемой цепочкой тянулись другие, не менее строгие, еще более горькие. Он отвечал за безопасность людей. Нет, это был не только пункт положения о функциях главного инженера, а сама душа его — он верил в свою способность обеспечить эту безопасность. Люди волновались и страшились, он презрительно их обрывал, он лучше их знал, что опасаться нечего: все меры приняты, идите и спокойно работайте. Так он отвечал им, и все это было ложь и самомнение, ничего он не сумел обеспечить — факты налицо. Конечно, не он вызвал взрыв, сознательным убийцей его никто не назовет. Но то, что взрыв мог разразиться, что он не устранил самой возможности его, — это его вина. И значит, смерть этих людей лежит на его совести, что бы там ни написала официальная следственная комиссия.

Мациевич содрогнулся. Он вдруг представил себе замкнутое, жесткое лицо Арсеньева, его ледяной неторопливый голос. Да, этот человек умеет мыслить, какой неотразимо логичной была вся цепь его рассуждений! Он прямо этого еще не сказал: ты, главный инженер Мациевич, Владислав Иванович, ты один виновен. Он выразился уклончивее — непорядки в энергохозяйстве. Из-за непорядки в энергохозяйстве тоже отвечает главный инженер. Ничего, завтра он все скажет — поставит все требуемые точки, назовет все полагающиеся фамилии. Этот на полпути не остановится. А если бы и захотел остановиться, ему не дадут. Его подтолкнут, ему вежливо и настойчиво подскажут: дело не только в непорядках, а и в том, кто эти непорядки поощрял. Вот для чего Симака назначили в эту комиссию — знали кого! Раз Симак кричал о том, что все боятся несчастья, а несчастье случилось — значит он был прав. И никто не станет разбираться, в чем состояло существо их спора. Несчастье произошло, все — главный инженер виноват, бить главного инженера! Может, сам Симак и не кинется на него с кулаками. Зачем? Достаточно только мигнуть: «В клочья!» — и полетят клочья!

«А ты думал, тебя по головке надо погладить? — вдруг спросил самого себя Мациевич. — Нет, друг, нет, сам же ты себя не милуешь. Так за что же тебя должны помиловать люди, отдающие жизнь свою в твои руки и увидевшие, что они ненадежны? Не правильнее ли дать тебе по рукам — не суй их вперед!»

Желанное утомление наконец пришло к Мациевичу. Он присел на диван, закрыл глаза, подумал с облегчением: «Теперь отдохну, посплю!» Но это была не усталость, а изнеможение, все тело ныло, сон не шел. Мациевич подумал о том, что шахта восстановлена, нужно начинать работу. Ему придется говорить с людьми, направлять их на участки, заверять в безопасности — лгать им. Отчаяние охватило его, он застонал, снова заметался по кабинету. Нет, нет, только не это, этого он не может! Он остановился посреди кабинета, сурово спросил себя: «Вот как, не можешь? Сумеешь. У тебя нет другого выхода. Не скажешь же ты людям: идите, спокойно работайте, а безопасности — что ж, безопасности не будет. Ты будешь лгать, будешь извиваться. Раньше тебе не верили, кто поверит сейчас?» В эту минуту он ненавидел самого себя.

На столе зазвонил телефон. Мациевич выругался — ему никто не был нужен, ни с кем не хотелось разговаривать. Телефон заливался. Мациевич с проклятием поднял и снова положил трубку, отключая непрошенного собеседника. Он тут же рухнул в кресло, вытянул впереди себя руки, бессмысленно глядя на стол. В нем медленно поднимались новые мысли, еще несколько дней назад они показались бы ему бредом сумасшедшего. Что останется в его путаной жизни, когда пропадет и уважение к себе и гордость собой? Зачем она нужна, эта вздорная жизнь? Он поглядел на сейф, перенесенный из его кабинета. Там, под бумагами и чертежами, лежал револьвер. Никогда он не брал его с собой, он насмехался над теми начальниками, которые ночью боялись пройти по пустынной дороге от шахты до подъемника. «Всякий человек попадается на севере», — говорили ему, оправдываясь. Он возражал: «Так вы хотите быть страшнее всякого человека?» Это была совсем ненужная игрушка, он много раз подумывал сдать ее. Но как знать, не в ней ли сейчас лежит решение всех вопросов? Нажал рычажок, и нет ни этих ядовитых мыслей, ни отчаяния, ни сознания своего краха — так просто и так быстро!

— Нет! — крикнул Мациевич, снова вскакивая. — Вздор это! Так скоро я не сдамся, нет!

Дверь широко распахнулась, рассерженный Симак появился на пороге.

— Захочешь в другой раз отделаться от кого, не ругайся в поднятую трубку, — сказал он вместо приветствия.

— Я в воздух ругался, — ответил Мациевич хмуро. — А вообще, Петр Михайлович, мне сейчас беседовать не хотелось бы — я очень устал.

— Я тоже, — отозвался Симак, снимая пальто и бросая его на диван. — И беседовать мне не хочется, как и тебе, но ничего не поделаешь — нужно.

Он вопросительно поглядел на ходившего перед ним Мациевича и спросил прямо:

— Что будем делать?

Мациевич пожал плечами.

— То, что надо, Петр Михайлович. Завтра Озеров созовет совещание, заслушаем новый докладик Арсеньева, на этот раз он будет конкретнее: не только общие непорядки, но и виновники их. Примем резолюцию — виновников осудить, а непорядки устранить. Одобрим мою работу по восстановлению шахты, меня самого снимем с должности как главного виновника, а людям со спокойной душой предложим спускаться под землю — уголек-то ведь нужен!

Симак долго молчал. Лицо его было нахмурено и враждебно, Мациевич видел, что поддерживать иронический тон беседы Симак не будет. Мациевич догадывался, зачем Симак явился к нему в этот поздний час, — он собирался подвести наедине итоги их долгим спорам, прежде чем обрушиться на него на официальном собрании. Симак в самом деле сказал, не отрывая пристального взгляда от Мациевича:

— Вижу, готов уже признать свою вину. Арсеньев, кстати, тоже пришел к тому же выводу, что и ты — в катастрофе виновато безобразное руководство Семенюка, запустившего свое хозяйство, а над Семенюком стоял, конечно, ты. Вот оба и должны отвечать.

Мациевич холодно отозвался:

— Что же, правильный вывод, все логично обосновано. Лично я не собираюсь протестовать против ваших выводов. Думаю, это облегчит вам задачу.

— Значит, ты примешь все, что тебе предъявит Арсеньев? — спросил Симак после долгого молчания.

Снова Мациевич передернул плечами.

— Что значит — приму? Не протестую — только. Вам, повторяю, хватит. — Он добавил: — Если хочешь знать, я просто не желаю унижаться до оправданий. Я не последний человек в горном деле, жизнь моя за много лет у всех на виду. Если она приводит вас к заключению, что я преступник, ничего не поделаешь — преступник.

Симак вдруг взорвался. Он чуть ли не с кулаками подступил к Мациевичу.

— Идиот! Башка надутая! — орал он. — Когда ты наконец свою поганую спесь придушишь? Вот уж воистину граф с девяностолетним подземным стажем! Сколько раз хотелось за эти твои выкамаривания по морде тебе влепить! Честное слово, жалею, что раньше этого не сделал, при всех! Даже в такую минуту трясешься, как бы не опустился твой задранный нос. Жизнь на виду! У всех у нас на виду, а не в подполье, нечего важничать! Преступник! Я Арсеньеву сказал, что если ты преступник, то и я преступник. Устраивает тебя это? Все твои распоряжения и действия поддерживаю, кроме того, что заволынили с окончанием реконструкции, а это к катастрофе отношения не имеет.

У Мациевича захватило дыхание. Всего он мог ожидать — не этого. Он вдруг увидел, что не только ошибся где-то в оценке технического состояния шахты, но еще сильнее ошибался в другом, может быть не менее важном, — в оценке людей. Он не рассердился на брань Симака, она была ему даже приятна. Он только спросил:

— Не понимаю, чего же ты хочешь от меня? Зачем ты ко мне пришел?

— Как — чего хочу? — крикнул Симак. — Как — зачем пришел? Неужели вправду не понимаешь? Людям спускаться в шахту — что мы скажем им? Арсеньев запутался, он не может найти причины катастрофы. А ты ушел в сторону, замкнулся в своей спеси — не хотите моей помощи, не надо, сам не навязываюсь. И заранее подставляешь по-благородному шею — нате, рубите, если виновен, вон я какой обходительный! Фу, смотреть противно! Слушай, Владислав, — быстро и серьезно сказал Симак, схватив за руку Мациевича, — ты должен поработать вместе с Арсеньевым, без тебя он не справится. И самое главное — выступи на шахтерском собрании завтра, расскажи людям о положении, на Арсеньева не оглядывайся, говори, что сам думаешь, ты больше его знаешь.

Теперь наступила очередь Симака удивляться. Мациевич заговорил быстро и возбужденно. Совсем это не напоминало его обычной плавной иронической речи. И лицо у него было неожиданное, невозможное у него — растерянное.

— А что я скажу людям? Что я сам ничего не знаю? Что я запутался хуже Арсеньева? Это, что ли, сказать? Ведь я главный инженер, главный! Одно это слово показывает, что я должен разбираться лучше всех, все должен знать по своей отрасли, а что я знаю об этом несчастье, что, я тебя спрашиваю? Ничего не знаю, ничего не понимаю! Это сказать на собрании — себе в лицо плюнуть! И самое страшное: раз я не знаю причины катастрофы — значит я не могу ее устранить. Над людьми нависла опасность, я обязан ее ликвидировать, а я не могу! Чего же я стою сам? Чего, чего, ответь мне? Прежде я был уверен в безопасности, а люди боялись. А теперь я ни в чем не уверен, как же я могу уверять других? Кто мне поверит, если сам я себе не верю?

Симак слушал его с сочувствием — только теперь он понимал всю глубину терзаний Мациевича. Меньше всего они были связаны с нападками на него со стороны, этот человек нападал на себя более жестоко, чем могли то сделать другие, он слишком уважал и ценил себя прежде, чтобы щадить теперь. Но как ни взволновало Симака горестное признание Мациевича, было другое, что волновало его больше. Симак мрачно проговорил:

— Положение, однако... Просто выхода нет. И уголь нужно выдавать — больше комбинат не может ждать, иначе все заводы станут. И людям приказать спускаться в шахту, где на каждом шагу непонятная, неустраненная угроза гибели... Д-да...

— Теперь ты сам понимаешь, — с горечью отозвался Мациевич. — Озеров отдаст приказ о возобновлении работ только после того, как я гарантирую безопасность. Я не могу ее гарантировать, не могу! А ты говоришь — собрание, речь...

— Что же ты думаешь делать? — повторил свой первый вопрос Симак.

На это Мациевич ответил:

— Не знаю. Думаю — ничего не могу придумать. Одно понимаю: для должности главного инженера я не гожусь, нужно отказываться. И отказаться тяжело...

Симак нетерпеливо отмахнулся.

— Чепуха, слушать не хочу! Подумаешь, отставка кабинета министров. Никому она не нужна, суть не в этих личных перестановках. Назначат вместо тебя другого — загадка не прояснится от этого, так ведь?

Они молчали, думая каждый о своем, — мысли их были двумя сторонами одного и того же. Нового Симак не узнал ничего из этой беседы с Мациевичем, но то, что он знал и раньше, стало определеннее и безрадостнее. Он поеживался, представляя завтрашнее собрание. На него прибудет Пинегин, тот знает одно — пора выдавать уголь. И правильно, нужно выдавать, но как же сказать людям, в самом деле: идите, а безопасность не гарантируем? Симак угрюмо проговорил:

— Пришел к тебе посовещаться. Откровенно признаюсь — надеялся, что ты страхи мои рассеешь. Раньше у тебя все было ясно и просто, ты с этим — с психологией всякой — мало считался. А теперь техника твоя, со всеми ее загадками, в прямую психологию переросла. Вместо успокоения еще больше меня запугал.

Мациевич не ответил. Симак встал.

— Ладно, Владислав Иванович, поговорили. А собрание завтра состоится, тут уж поздно менять. Прошу тебя еще раз — выступи. Озеров занят тысячью всяких неотложных дел, тебе лучше, чем ему.

— Выступить могу, — ответил Мациевич. — Даже обязан выступить. Но не уверен, будет ли польза от моего выступления. Рабочие шахты меня не очень любят, для тебя это не секрет.

— Польза будет, — сказал Симак. — А насчет любви — что же, во многом ты сам виноват, не сумел завоевать души.

— И не собираюсь завоевывать души, — сердито возразил Мациевич. — Я уголь добываю, вот моя задача. С очаровыванием подчиненных это не имеет ничего общего... И если останусь главным инженером, буду вести себя точно так же, не надейся на перемены.

— Ну и глупо, — спокойно заметил Симак. — Ты, конечно, любишь шахту, но не один ты ее любишь, другие не меньше к ней привязаны — вот в чем суть... Никак этого не хочешь понять, а понял бы, сразу бы и относиться к тебе стали по-другому.

— Понес! — досадливо поморщился Мациевич. — Давай хоть сегодня не надо этого — политпросветработы.

После ухода Симака Мациевич пытался вернуться к старым размышлениям и не сумел. Все в нем было сбито — мысли, чувства. Нужно было сосредоточиться на шахте, думать о причинах взрыва — он вспоминал, что Симак спорил из-за него с Арсеньевым, стал на его защиту. Мациевич не мог так скоро отделаться от привычных представлений, это был длинный и нелегкий путь, он только начинал его. Мациевич усмехался, упрямо думал по-старому — далеко же зашло у них в комиссии дело, если Симаку пришлось защищать своего главного противника!

Когда он выходил, ему в коридоре встретилась Полина, возвращавшаяся домой после вечерней смены. Она радостно улыбнулась ему, он ласково кивнул ей. Полина была одной из немногих девушек на шахте, с которыми замкнутый Мациевич поддерживал какое-то внешнее подобие личного знакомства, а не только служебную субординацию. Высокая, сильная и красивая, в нерабочие часы нарядно одетая, она нравилась ему всем своим обликом. Еще больше привлекал его характер Полины — неровный и колючий, как кусок дикого камня. Мациевич не терпел обкатанных и степенных людей, особенно не выносил это свойство у женщин — он считал таких людей серыми.

— Владислав Иванович, — сказала Полина. — Правда, что шахта послезавтра начинает работу?

— Правда, — ответил Мациевич.

— Девушка продолжала:

А среди рабочих разговоры, что ничего не нашли, почему люди погибли. Это ведь неверно?

Он ответил уклончиво:

— Имеются разные предположения. Поиски причин продолжаются.

— И такие нехорошие слухи ходят, — говорила Полина. — О комиссии, о начальнике комбината... Будто бы... Да нет, все чепуха!

Он уточнил, усмехаясь:

— Все же, что это за слухи? Смелее, смелее, Полина! Наверно, о том, что меня снимают с работы?

— Да, — призналась она, краснея.

Он безжалостно допрашивал:

— И что меня отдают под суд? Это ведь?

Она молчала, опустив голову, раскаиваясь, что начала этот неприятный разговор. Мациевич закончил:

— И вас, конечно, интересует, правда ли это? На это я вам отвечу так — сам я ничего не знаю. Все может быть! Во всяком случае, на шахте найдется много людей, которые будут рады любой жестокой расправе со мною.

— Нет, нет, никогда! — воскликнула она горячо. — Это вы напрасно, совершенно напрасно.

Мациевич слушал ее, улыбаясь. Он лучше Полины знал, как относятся к нему подчиненные. Ругательное словечко «граф Мациевич» не раз долетало до его ушей. Девушка путала свое личное отношение к нему с отношением к нему других, для девушек подобные вещи естественны, им кажется, что все должны глядеть только их глазами.

Мациевич дружески сказал Полине:

,— Мы еще с вами обо всем этом поговорим, после того, как эти неприятности закончатся. Думаю, найдем время для обстоятельной беседы. Тогда я вам докажу, что лучше знаю людей, чем вы их знаете. Сами факты будут говорить за меня.

— Хорошо, поговорим, — согласилась Полина. — Я всегда с радостью поговорю с вами. А в факты я никакие не поверю.

Мациевич протянул руку Полине и ушел, подтянутый, строгий и холодный. Все же ему было приятно, что еще один человек в общей враждебной к нему массе думает о нем по-настоящему хорошо. Впрочем, иного от Полины он не ожидал.

5

После споров в комиссии Арсеньев провел бессонную ночь. Мациевич в это время метался по кабинету и спорил с Симаком, а Арсеньев ворочался в кровати, допрашивая самого себя. Дело было не в том, что он уверовал в правоту Семенюка, — открытое Арсеньевым упущение оставалось серьезным упущением, виновные должны были ответить за него, от этого Арсеньев не отступался. Он упрекал себя в другом. Он не позволял себе прежде судить о людях по внешним признакам, даже собственным их словам не доверял — только их поступки имели у него силу. Разве не начал он свое расследование с того, что внимательно изучил личные дела погибших отпальщиков? Он обо всей их жизни расспрашивал, чтобы получить ответ, как они могли повести себя в этом единственном случае. Как же тут он изменил самому себе? Только оттого, что ему не понравилось лицо Семенюка, он разрешил себе произвольно толковать его действия, приписывая ему вздор, сам в этот вздор поверил. «Нехорошо, очень нехорошо!» — твердил себе Арсеньев.

И на следующее утро он с совсем иным чувством всматривался в лицо Семенюка.

Семенюк был плох, напряжение последних дней почти сломило его. Он минут двадцать отдыхал в своей служебной каморке. Это был уголок электромонтажного цеха, отгороженный от остального помещения дощатой перегородкой. Семенюк не пошел даже на планерку — аккуратный Озеров, несмотря на то, что шахта не выдавала угля, ни одного раза не отменил планерок, дел и забот с избытком хватало. Когда Арсеньев вошел в цех, Семенюк встрепенулся, с усилием придал себе более официальный вид: он уже догадался о неприязни Арсеньева и, человек опытный, понимал, что нельзя раздражать строгого председателя следственной комиссии. Однако выдержки его хватило ненадолго.

— Мною обнаружено серьезное нарушение правил эксплуатации электрических механизмов, я прошу вашего объяснения, — начал Арсеньев. — Вам, вероятно, уже докладывал мастер о нашем совместном обходе шахты. Я имею в виду отсутствие защитного заземления электроаппаратуры.

— Боже мой, обратно заземлитель! — Семенюк покачал головой. — Сколько мне крови испортил, просто никто не поверит. Ночью даже снился, проклятый. А теперь еще вы!

— Все-таки не понимаю, — проговорил Арсеньев, сколько мог дружественно. — Возможно, он вам снился. Но почему его нет?

— Вот потому и нет, — вздохнул Семенюк. — Ах, Владимир Арсеньевич, мне мастер столько напередавал, что вы ему говорили, — и гибель людей, и взрывы шахты, и прочие преступления. И все из-за. него, заземления. Ну, слово вам даю, не стоит оно того, ну, ни капельки не стоит! Тысячу раз проверяли, сам я, как вы, на дыбы вставал, теперь уверен.

— А я нет, — возразил Арсеньев. — И прошу мне доказать, что я неправ. Прежде всего вот это, — он вынул ту же книжечку, правила безопасности при горных работах, что уже показывал Симаку. — Тут прямо сказано, что никакая шахта не может работать без центрального заземлителя, устроенного в любом подходящем и удобном месте.

— Да нет же его, этого места! — закричал Семенюк. — Ни подходящего, ни удобного! И никогда не было на нашей шахте. И не будет его, честное слово, хоть всю шахту переройте. Наша же шахта в чем проложена? В вечной мерзлоте, это же Заполярье. А вечная мерзлота не подходит для заземления. Вот постойте, я вам покажу.

Он торопливо рылся в своем сейфе, вытаскивал чертежи, кипы бумаг. Все это было свалено на стол, разбросано перед Арсеньевым. Семенюк хватал то одну, то другую бумагу.

— Вот глядите, Владимир Арсеньевич. Нет, не та... Эта, что ли? Вот, вот, нашел! Дивитесь, прошу вас, общий чертеж расстановки оборудования. Где здесь заземление? Нет его! Проектировщики считали его ненужным. А вот моя записка — вместе с Мациевичем подписывали. Мы чего требуем? Вот посмотрите! Чтобы все было по правилам — центральный заземлитель, защитная заземляющая сеть, не больше одного ома сопротивления — ну, все, понимаете? И даже грозили... где это здесь? Ага, послушайте: «Только при строжайшем выполнении настоящего требования мы считаем возможным принять шахту в эксплуатацию» — это мы с Мациевичем, розумиете? И знаете, что нам ответил руководитель проекта? «Требовать вы, конечно, можете — это не возбраняется. Но требование ваше так же осуществимо, как организация домов отдыха на Марсе, — если это и произойдет, то не при моей жизни».

Арсеньев спросил с негодованием:

— Кто этот руководитель проекта, который осмеливается шутить в деле, от которого зависит безопасность людей и шахты?

— Это Гилин, Марк Осипович Гилин, — ответил Семенюк, пожимая плечами. — Поговорите с ним, он и сейчас не откажется. А знаете, кто его поддержал на техсовете проектной конторы? Профессор Газарин.

— Гилин, Газарин, — повторил Арсеньев. — Странно... Я привык считать их самыми грамотными электриками в нашем комбинате.

— И правильно! — подтвердил Семенюк. — Страшенного ума люди. Других таких нет. Да вы поговорите с ними, они вам живо растолкуют.

Старая безотчетная неприязнь к Семенюку поднялась в Арсеньеве. Он не удержался от ядовитого замечания, его возмутила торопливость, с какой Семенюк отсылал его к другим.

— Да, конечно, товарищ Семенюк, для вас это мощный щит, эти чертежи Гилина, можно укрыться за ними, всю ответственность с себя свалить.

И тут Семенюк не вытерпел. Он знал, что очень многое в его личной судьбе зависит от того, как сформулирует свое заключение Арсеньев, но обида была слишком непереносима. Руки его тряслись, он перешел на родной украинский язык.

— Ни, кажу вам, ни — не маете права, Владимир Арсеньевич! Який щит — я же всю шахту облазив, не знайшов мисця для того проклятого заземлителя... Столько шукав, сам шукав — в сто раз больше вас усе облазил! А у вас совести хватает... Говорю вам: ночи не спал! И знаю теперь твердо — не имеет це значения. Ну, никакого!

Арсеньев встал с тяжелым чувством: ему было совестно, что он довел больного человека до вспышки. Арсеньев через силу принужденно улыбнулся и проговорил:

— Успокойтесь, Иван Сергеевич, насчет щита признаю — лишнее... Но во всем остальном, не скрою, сомневаюсь. Хорошо, я пойду к Гилину.

Арсеньев тут же ушел с шахты. Он был сбит с толку. Он запомнил показанный ему чертеж, там в самом деле стояло примечание: «Заземление не проектируется». Если словам Семенюка можно было не верить — тот в конце концов выгораживал себя, — то как не верить в предписание Гилина? А Газарин, человек больших знаний, удивительной личной честности? Они не могли не знать, что речь идет о безопасности шахты, жизни сотен людей. Все это было непонятно и удивительно.

Гилин встретил Арсеньева очень приветливо, они уже несколько раз сталкивались на заседаниях и по производственным делам. В проектной конторе лишних стульев не водилось, посетители стояли или устраивались на подоконниках. Арсеньеву не хотелось, чтобы его разговор с Гилиным слышали другие, — он присел на кипу старых синек, стоявшую у самого стола. Нетерпеливый Гилин прервал его с первых же слов.

— Правильно вам сказал Семенюк, отсутствие заземления на шахте не имеет никакого отношения к происшедшему несчастью, — объявил Гилин. — Вздор все это — искра, пролетевшая от замыкания на землю. Ищите другие причины, более серьезные, а я пока кое-что вам продемонстрирую, вас заинтересует.

Он подбежал к шкафу, где хранились кальки старых чертежей, и вытащил смятый, порванный лист — судя по внешнему виду листа, его не раз изучали. Чертеж представлял план города и его окрестностей, цветная тушь покрывала его многочисленными пятнами. Арсеньев склонился над листом — перед ним была характеристика местных почв и сеть заземляющих устройств.

— Вы на Севере человек новый, Владимир Арсеньевич, — говорил Гилин. — Вы, конечно, не знаете ни наших местных затруднений, ни найденных нами остроумных решений. А нам пришлось попыхтеть. Не хвастаясь, скажу — седых волос нам стоили все эти промышленные заземлители. У вас, в нормальных краях, заземлитель — пустяк: воткнул в землю трубу или заложил в нее рельс — готов заземлитель. А здесь нет земли. Не смотрите на меня с таким удивлением. Почвы есть, а земли — электрической земли — нет, ибо вечная мерзлота. Вечная же мерзлота — изолятор, она не проводит электричества, то есть проводит, но в ничтожно малой степени. Летом она оттаивает на полметра или метр, этот верхний активный слой электропроводен. А чуть его хватит мороз, он снова превращается в изолятор. В шахте же вообще ничего не оттаивает. Шахты у нас — кладовые вечного холода, мерзлота и только мерзлота. Какое же здесь мыслимо замыкание на землю? Представьте, что под ногами и вокруг вас резина, — заземление в этих условиях ни к чему.

Чертеж был усеян цифрами — характеристиками электрического сопротивления данных участков почв. Арсеньев все более удивлялся: везде стояли миллионы, десятки миллионов ом, в районе шахт эти значения прыгали еще выше — до сотен миллионов, до миллиардов. Да, это были изоляторы, ничем они не напоминали, эти странные вечномерзлые грунты, привычных ему суглинков, черноземов, песков... Арсеньев сказал, подняв голову:

— На этом основании вы, стало быть, решили отказаться от точного выполнения правил горной безопасности?

— Именно, — подхватил Гилин. — Мы плюнули на все правила в мире, раз не можем их удовлетворить. Мы докопались до корней, породивших эти правила, подошли к ним не формально, а по существу. Они были разработаны для других районов, а у нас неприменимы. Экспертные комиссии министерства с нами согласились. Сказать по совести, шахты нас беспокоили не очень. Вот с ТЭЦ намучились — заседание за заседанием, телеграммы в Москву, а толку все нет. Пускать ТЭЦ без заземления мы не могли — хоть и на короткий срок, но земля все же сверху оттаивает и становится электропроводной. Если бы не предложение Газарина, самый пуск бы ее провалили,

— Что это за предложение? — поинтересовался Арсеньев.

— Самое замечательное. Просто и великолепно — оно сразу решило все наши затруднения. — Гилин водил рукой по листу, показывая синие пятна. — Вот это наши местные озера, глубоководные, из тех, что зимой не замерзают до дна. Газарин сообразил, что раз они до дна не промерзают, то дно у них сложено не из вечной мерзлоты, а из простого талого грунта — вода ведь имеет температуру выше нуля. Талики же хорошо проводят ток, это самая обыкновенная земля, не эта чертова мерзлота. Вот мы и устраиваем на дне озера металлические заземлители, вбиваем туда ломы и рельсы или укладываем свинцовые решетки. Сейчас все промышленные предприятия привязываются к этим заземлителям. Ну, а на шахтах и рудниках озер нет — значит, и озерные заземлители сюда не подойдут.

— Ив самом деле остроумное решение, — согласился Арсеньев.

— Говорю вам — замечательное! — закричал Гилин. — Но постойте, это еще не все наши находки. На рудниках у нас тоже решена задача. И как — не поверите! Есть такой геолог, Булмасов Александр Павлович, умнейший человек. Он сообразил, что рудная жила — прекрасный проводник, протянутый среди плохо проводящей породы. А так как жила простирается на большое расстояние, то она самой природой предназначена к тому, чтоб служить отличнейшим заземлителем. Мы на руднике законсервировали глыбу богатой руды и используем ее в качестве заземлителя. Горняки ворчат, им приходится из кожи лезть, чтобы добыть какие-то рудные прожилки, а тут под носом ценнейшая масса: копни — и сразу перевыполнишь план. Но скулят, что ничего нового не придумываем, а до жилы не дотрагиваются, понимают, что речь идет об их собственных жизнях.

— Значит, вы тоже признаете, что с хорошим заземлением связана жизнь людей? — заметил Арсеньев. Он внимательно слушал объяснения Гилина, почти все здесь было ему ново.

— Так это же рудник! — закричал Гилин. Он был добр, вспыльчив и шумен. — Рудник, поймите. Раз там имеется хоть один проводящий кусочек, всегда возможно случайное заземление именно на него. Кто же станет этим рисковать! Тут нужен стационарный заземлитель. А на шахте? Уголь еще хуже проводит ток, чем окружающие его мерзлые породы. Чего здесь бояться, объясните на милость?

— Благодарю вас, — сказал Арсеньев, поднимаясь с пачки синек. — Теперь многое мне стало ясно, зато другое еще более запуталось.

Из проектной конторы Арсеньев поехал на шахту. От подъемника он пошел пешком — ему хотелось подумать в одиночестве. Отойдя несколько шагов, он вынул из кармана аккуратно сложенный лист бумаги — заключение комиссии, не подписанное Симаком, — и разорвал его в мелкие клочья. Арсеньев обычно все делал медленно и уверенно, сейчас он торопился — бумага эта жгла ему руки, они дрожали. Он вздохнул с облегчением, когда слабый ветерок развеял обрывки в морозной темноте. Кончено с этим доносом, злобным и поверхностным поклепом на невинного человека. Пусть это будет ему, Арсеньеву, уроком на будущее. Он считает себя настоящим специалистом, честным работником. Все это верно, конечно. А между тем по его вине, по его прямому настоянию другого, не менее честного, чем он, человека чуть было не привлекли к ответственности как преступника! О, он бы оправдался, его бы не осудили, за него встали бы горой многочисленные защитники. Но как он смел это взять на себя — осуждать других? Он более заслуживает осуждения, чем они, он вел себя недостойно!

Арсеньев вернулся к тому, о чем непрерывно думал все эти дни, — к катастрофе. Итак, все его хитросплетения рухнули. Воз там, где стоял в первый день. Тайна остается тайной. Раз вся шахта сложена из непроводящих пород, значит неожиданного замыкания электрической линии на землю быть не могло, следовательно, не могло быть и искры. Отчего же произошел взрыв? Отчего погибли люди? Он, Арсеньев, считал, что технически немыслимо установить все электрические механизмы и кабели на изоляторах, это было свыше возможностей человека — он не сумел в это поверить. Но природа — более опытный инженер, чем человек, ее возможности шире, она и тут это доказала.

Арсеньев прошел к Симаку. Он кратко и сдержанно проинформировал его о беседах с Семенюком и Гилиным.

— Значит, опять ничего? — с отчаянием спросил Симак. — Вот уж воистину загадка — темный лес!

Он еле сдерживался, чтобы не вспылить, — теперешняя проволочка Арсеньева была почти столь же неприятна, как его прежние поспешные выводы. Шахта вот-вот должна была возобновить работу, нужно было правдиво и определенно разъяснить рабочим, что произошло, — сказать было нечего. Симак с укором глядел на Арсеньева — об этом ли человеке по всему комбинату говорили как о решительном, точном и оперативном работнике? Симак ничего не добавил к своему восклицанию. За эти трудные дни он изменился больше, чем любой другой человек на шахте. Живой и насмешливый, он прежде не умел скрывать ни своих чувств, ни своих настроений, ни своих привязанностей. Теперь он был еще более вежлив, чем Мациевич, почти так же сух как Арсеньев. В этом была необходимость — он оказался в самом фокусе невероятно обострившихся страстей и столкновений, от него слишком многое сейчас зависело: и судьбы и мысли людей. Он понимал ответственность каждого своего шага и слова, старался быть достойным этой ответственности и, зная себя, твердил себе молчаливо и упорно: «Спокойнее, спокойнее, без увлечений — так можно и дров наломать!»

— Темный лес, — сумрачно подтвердил Арсеньев; впервые он признавался в неудаче своих поисков. — Не буду скрывать, меньше представляю себе природу взрыва, чем в начале расследования.

— А от главной своей мысли, что причиной несчастья была искра, от этого тоже отказываетесь? — спросил Симак.

Арсеньев с прорвавшимся внезапно волнением, исказившим суровые черты его лица, ответил:

— Нет, от этого одного не отказываюсь. Это правильно — искра породила взрыв. Но как она могла пролететь — совершенно не понимаю!

6

Для Камушкина наступили нелегкие дни. Восстановительные работы на шахте отнимали много труда и нервов. Еще хуже были нескончаемые заседания, не бывало дня без заседаний, на каждое требовали обязательной явки. Задержавшись в больнице, куда он отправился узнать, как здоровье Маши, Камушкин как-то пропустил важное заседание. Озеров строго предупредил его: «Больше чтобы этого не повторялось. Нужно что разузнать — телефон у тебя под руками». Камушкин огрызнулся, но постарался больше не пропускать заседаний.

Он уже несколько раз приезжал в городскую больницу, но к Маше его не пускали. Главный врач объяснил, что больная в плохом состоянии. У нее были две операции подряд: удаляли вонзившиеся в тело при взрыве кусочки породы и извлекали осколки из раненой ступни — кость сильно повреждена.

— Хромать она, очевидно, будет всю жизнь, — заметил врач. — В данный момент опасно не это — имеются большие обожженные участки на руках и ногах, ну, понимаете — инфекция... Вообще она попала в крепкую переделку, это надо признать. Сейчас она лежит в отдельной палате, сбиваем высокую температуру. Прокурор к ней просился с дознаниями — тоже не пустили...

Иногда Камушкина сопровождал Комосов, порой они приходили порознь и встречались в приемном покое — бухгалтер был теперь самым аккуратным посетителем больницы. Камушкин видел, что Комосов искренне и дружески переживает несчастье с Машей, он мрачнел при каждом новом сообщении, что ей стало хуже.

Камушкина мучило сознание вины перед ней. Он не мог забыть, что сам привел ее в несчастный семнадцатый квершлаг. Он думал не только о болезни Маши, но и о том, что выздоровление ее породит новые осложнения. Он часто вспоминал вопрос Арсеньева о причастности Маши к катастрофе. Нет, конечно, не случайно был этот вопрос задан: у такого человека, как Арсеньев, ничего не бывает случайно. По шахте ползли тревожные слухи, все знали, что ищут виновников аварии, а кто более виновен, чем тот, рядом с которым, может быть от неосторожности которого, катастрофа разразилась? Если это так, то Маша выйдет из больницы только затем, чтобы предстать перед судом. «Вздор, — убеждал он самого себя, — люди же это, а не чурки с глазами — разберутся!» Он все же не выдержал и без вызова явился к Арсеньеву. Тот холодно выслушал его горячую речь и ответил:

— Собственно, не понимаю, почему вас тревожит Скворцова? Мы об этом уже говорили. Думаю, повторяться не стоит.

Камушкин поговорил и с Симаком. Этот просто отмахнулся от него, обругал его за глупые опасения. Камушкин успокоился.

В один из приездов в больницу Камушкин встретился там с Синевым. Синев недавно встал с постели и еще не приступал к работе. Он был бледен, мрачен и слаб, ходил с повязками. Он с неприязнью смотрел на Камушкина, было видно, что он не забыл нанесенной ему обиды.

— Жив? — хмуро поинтересовался Камушкин, окидывая Синева быстрым взглядом.

— Как видишь, — ответил Синев. — К твоему сожалению, конечно. Ты, я слышал, обо мне всякую клевету распространял, вероятно, и Скворцовой говорил — надеялся, что я не опровергну. Ничего, правда всегда выйдет наружу.

Камушкин видел, что Синев ищет ссоры. Голос его дрожал, он менялся в лице. Камушкин спокойно предложил:

— Ладно, Алексей, сейчас нечего нам ругаться. Считаешь, что правильно поступил в шахте, — считай, твое дело.

Камушкин пошел в клуб. В клубе было созвано производственное собрание рабочих шахты. Начало назначили на девять часов вечера, еще не было восьми, но народ уже собирался. В одном уголке человек пять беседовало с Ржавым, в другом слышался пронзительный, злой голос Гриценко. Собрание началось задолго до того, как его открыли официально. Шахтеры спорили о том, о чем им собирались докладывать, — о завтрашнем выходе в шахту. Камушкин кивнул прошедшему мимо Харитонову, показал на рабочих.

— Обсуждаете?

Харитонов остановился, он добродушно улыбался.

— Помаленьку толкуем. Без председателя и секретаря. Гриценко разоряется, конечно. Этот не может без крика.

Они подошли к группе, где ораторствовал Гриценко. Камушкин улыбался, Харитонов хмурился: они жили с Гриценко недружно.

— Ну, и что мне эти комиссии? — сердился Гриценко. — Что, я тебя спрашиваю? Мне на все ихние доклады плюнуть и растереть! Еще ни одной стоящей комиссии не было. А сколько их налетало, боже ж мой! В Донбассе в двадцать шестом из комиссий полк можно было сформировать. И какие комиссии — профессор на профессоре! Думаешь, что-либо сногсшибательное? Если не врут, так ничего такого, чего без них не знали. Помню одну, целый томище сочинили, а в томище вывод: «Пожар вспыхнул от незаконного употребления огнеопасных предметов». Смех! А на шахте каждый сосунок уже знал: под землю спустился управляющий трестом, его, конечно, постеснялись обыскивать — начальство, а он, дура, в самом опасном бремсберге курить вздумал. Ну, и помчался прямоходом в рай для начальников, а с собой в дорогу еще человек восемь прихватил постороннего народу. Я скажу так — чего старый шахтер не знает, того никакой профессор не раскроет. Шахта всегда опасная, черти в каждом темном уголке подстерегают — подземелье чуть зазевался — цап тебя! Кто очень опасается — крестись, я, к примеру, лампочкой дорогу проверю — лучше креста, черти близко не сунутся. Видал кто меня без бензинки? С детских лет привык таскать. В гезенк люди как кинулись? Без памяти. А я бензинку прихватил, Харитонов вон ее задул, спасительницу.

Он враждебно посмотрел на Харитонова. Тот не выдержал.

— А не ты ли грозился — спасусь, шахту к чертовой матери? — спросил он с укором. — Еще других подбивал. Забыл?

Гриценко не смутился.

— Мало ли что было? Мы ведь как тогда соображали — взрыв на главной откаточной, оттуда понеслось пламя. Ну, значит, оттого, что не закончена реконструкция, на электровозной откатке ведь все искрит. А оказалось, совсем в другом районе. — Он повернулся к своим слушателям. — Я Бойкову сколько раз твердил: «Семеныч, без лампы не лазь!» — упрямый старик был. А теперь, представь, была бы у него лампочка. Сразу бы определил — метан! Ну, и конечно — никакой отпалки, пока не примут меры. Вот она, настоящая безопасность, она здесь сидит!

Он с гордостью похлопал себя по лбу. Харитонов ввязался в спор. Камушкин перешел к другой группе. Его поманил вошедший Симак.

— Как твои люди, Павел? — поинтересовался он озабоченно. — Готовы к завтрашнему спуску?

— Спустятся, — уверенно пообещал Камушкин. — Еще ни одного не встречал, который сказал бы: не полезу!

— Сказать, может, и не всякий вслух скажет, — задумчиво проговорил Симак. — А что они думают?

Плохая думка хуже камня на дороге — об нее легко споткнуться.

Камушкин возразил:

— За своих ручаюсь, Петр Михайлович, что думают, то и выскажут. Гриценко уже начал свое выступление, вон иди послушай его.

Камушкин прошел в зал. К нему подсел Комосов.

— Важное совещание, — сказал он, зевая. — Будет Пинегин собственной персоной, уже приехал, кажется.

— Важное, — согласился Камушкин рассеянно. — Нужно же убедить рабочих, что в шахте безопасно.

Комосов напал на Камушкина.

— Убедить! — фыркнул он. — Пинегин, который знает и любит только свои металлургические заводы, собирается убеждать шахтеров, когда и как им работать в шахте. Спектакль, ничего больше. Не агитировать людей нужно, а потребовать от них — добывай все, чего сам сумеешь, без твоего труда мы больше не можем, как без хлеба. Вот такая агитация дойдет до сердца. Я как-то объяснял Маше Скворцовой, что каждый рабочий может оказаться и ниже и выше своей нормы — как придется.

Камушкин почти не слушал Комосова, он думал о своем.

— Да разве девушка в таких вещах разбирается? — продолжал молодой бухгалтер. — Тут нужны логика и опыт. Я вот много размышлял: когда люди героями становятся? И знаешь, к какому выводу пришел? Чаще всего, когда от них ждут геройства, верят, что они поднимутся на него. Есть пословица: на миру и смерть красна. В ней глубокий смысл — на виду у всех человек постесняется показать свое худшее, трусость свою, он хорошим в себе порисуется. Нет, верно, не улыбайся, Павел. Я тебе скажу — человека у нас ценят, это так, а бывает, недооценивают. Мальчиком его таким представляют: надо его и погладить, и пожурить, и поагитировать, чуть ли не разжеванное ему в рот положить. А его надо схватить, подтолкнуть вперед: давай же, давай, нельзя дальше без тебя! Великое это дело, самое великое — знать, что ты необходим. Даже женщин возьми — они не столько то ценят, чтобы их крепко любили, сколько чтобы собственная их любовь была тебе нужна, чтобы не мог ты жить без нее, — тут их конек.

7

Собрание открыл Озеров. Речь его была кратка. Он напомнил о том, что шахта стоит уже вторую неделю. Запасы коксующегося угля на комбинате кончаются, другие шахты не могут покрыть создавшийся дефицит в коксе. Если седьмая шахта немедленно не возобновит добычи, все металлургические заводы крупнейшего в стране комбината станут — завезти кокс из центральных районов невозможно, сейчас зима, они отрезаны от всего остального мира сотнями километров снежных пустынь и полярной ночью. Нужно выкручиваться своими силами; только так стоит вопрос. А конкретно о положении доложит главный инженер шахты, товарищ Мациевич.

— И докладывать ничего не надо, — убежденно прошептал Комосов Камушкину. — Все важное Озеров уже сам сказал, теперь бы надо закрывать собрание.

Мациевич взошел на трибуну. Он испытывал стеснение. Острый собеседник в кругу знакомых, он не умел выступать на собраниях. На широких совещаниях он отделывался справками и репликами с места. А сейчас было труднее, чем когда-либо раньше, — слишком важно и ответственно было то, о чем он собирался докладывать. Он целую длинную минуту не начинал речи, перелистывая бумаги и записи, в которые, он знал это твердо, ни разу потом не заглянет. Его пугало все — внимание насторожившегося, притихшего зала, недоверчивый взгляд сидевшего в президиуме Пинегина.

Он начал тихим голосом, тишина в зале стала гуще и настороженнее, кто-то не выдержав, крикнул: «Громче, не слышно!» Он взглянул в зал — кричал Гриценко. Мациевич справился с голосом, теперь его всюду слышали. Понемногу он увлекся, отделался от стеснения, уже не думал ни о Пинегине, ни о недружелюбной настороженности зала. Он начал с того, как появился в их шахте метан и что было предпринято по обеспечению безопасности шахты. Он перечислял мероприятия, материалы, завезенное и установленное взрывобезопасное оборудование. «Правда, всю шахту мы не успели переоборудовать, — заметил он. — В районе устья и главной откаточной штольни у нас еще сохранились старые механизмы, но здесь нет метана и нет выработок, опасность взрыва тут отсутствует». Он поспешно поправился, услышав шум в зале: «Это, конечно, наш просчет — реконструкцию надо закончить, но не все от нас зависит: оборудование поступает плохо». Он продолжал: таким образом, то, что можно было технически предусмотреть, было предусмотрено, меры по сохранению жизни и здоровья людей были приняты. Тем не менее произошел взрыв и люди погибли, а шахте нанесены тяжелые повреждения. Первый вопрос — причины взрыва. Он скажет об этом вопросе позже. Сейчас он коснется восстановительных работ. В одном из участков шахты, в районе старых выработок, начался подземный пожар. Товарищи знают, что это за неприятная штука — подземные пожары. На Урале имеются угольные шахты, где подземные пожары бушуют по десятку лет, и ничего с ними не могут поделать. Начавшийся у них пожар погасить не удалось. Задача состояла в том, чтоб отрезать пожар, не дать ему распространиться дальше. Эта задача выполнена. Пожар накрепко замурован в своих подземельях. Установлены специальные приборы, которые наблюдают за его течением, давлением и составом газов в замурованном пространстве. Пока нет признаков, что огонь затихает, но вырваться ему не дадут. Ядовитым продуктам пожара — углекислоте и угарному газу — также закрыта дорога в шахту. Это была самая трудная проблема — предохраниться от газов. Она решена.

Мациевич долго перечислял другие принятые меры — усиление свежей струи, вывод ее на новые направления, улучшение работы газомерщиков, установка новой взрывобезопасной и контролирующей аппаратуры. Он уже кончал свою речь, когда Гриценко крикнул ему с места:

— Насчет причин обещались — народ интересуется!

Мациевич глубоко вздохнул. Он знал, что сейчас предстоит самое тяжкое. На секунду им овладело сумасбродное желание бросить все и убежать из зала, где он стоял- на виду у всех, пронзаемый нетерпеливыми взглядами. Но он сдержался.

— Да, я обещал в заключение коснуться причин взрыва, — сказал он. — Я могу выразить свое мнение о несчастье в нескольких словах: я не знаю, почему произошел взрыв.

По залу пронесся шум, над шумом вознесся пронзительный голос Гриценко:

— А можете гарантировать, что взрыва больше не случится?

— Мы приняли меры, чтоб метан нигде не скапливался, — ответил Мациевич, всматриваясь в возбужденное лицо Гриценко. — Раз не будет опасных концентраций метана, нечему и взрываться.

— Нет, ты отвечай прямо, главный! — крикнул Гриценко. — Это не ответ, что не будет метана. В семнадцатом квершлаге тоже его не было, а потом появился. Вырвется вдруг метан — гарантируешь, что не будет несчастья? Вот на что отвечай.

Озеров постучал карандашом о графин.

— Товарищи, что за неорганизованные выступления, — сказал он с укоризной. — Имеется же определенный порядок — кто хочет выступать, пусть возьмет слово.

Теперь кричали из многих мест:

— Какой там порядок! Пусть отвечает на вопрос! Правильно, Гриценко, пусть говорит!

Мациевич поднял руку — шум сразу утих.

— Я отвечу на вопрос товарища Гриценко, — сказал Мациевич твердо. — Ответ этот будет таков — так как я не знаю причин взрыва, то не могу гарантировать, что он не повторится, если где-нибудь внезапно снова хлынет метан. Одно могу еще добавить — мы, очевидно, встретились с каким-то новым, еще не известным горной технике явлением. Когда именно мы изучим это новое явление и разгадаем тайну взрыва, я сказать не берусь.

Его голос потонул в общем шуме — зал спорил и гомонил, люди поворачивались один к другому, возбужденно переговаривались. Пинегин возмущенно обратился к сидевшему рядом с ним Волынскому:

— Ты понимаешь, что он говорит, Игорь Васильевич? Человек с ума спятил!

Волынский не ответил, он вслушивался в шум и выкрики, доносившиеся из зала. Не дождавшись от него ответа, Пинегин дернул за руку Озерова.

— Каждый говорит, как умеет, — уклончиво ответил Озеров.

— Нужно уметь говорить то, что нужно, — грубо оборвал его Пинегин. — Дай-ка мне вне очереди слово, Гавриил Андреевич, придется рассеивать туман, напущенный твоим главным инженером.

— Слово имеет начальник комбината, — объявил Озеров, стараясь перекричать собрание.

Только когда массивная фигура Пинегина показалась на трибуне, в зале начала устанавливаться тишина. Пинегин с первых же слов обрушился на Мациевича. Он все поставил в вину ему — и его прежние гарантии, что никакого несчастья не случится, и его теперешний отрицательный ответ на вопрос о причинах. Он, уже не сдерживаясь, стучал кулаком по трибуне.

— Всего я ожидал от главного инженера шахты, только не этого. Как же это так: по первостепенному вопросу, волнующему не только шахту — весь комбинат, у него нет никакого ответа! Завтра люди спускаются под землю, а главный инженер отказывается гарантировать их безопасность! Разве так поступают настоящие хозяйственники? Я спрашиваю вас, товарищ Мациевич, — Пинегин грозно повернулся к Мациевичу, — вы что — специально запугиваете людей вашими сомнениями и страхами?

Мациевич не успел ответить. Гриценко, приподнявшись на стуле, вдруг вызывающе крикнул:

— Шахту эксплуатировать — не дрова пилить, дело это хитрое. Правильно сказал главный — неясно со взрывом!

Пинегин, смешавшись, смотрел на Гриценко. Он не ожидал такого отпора со стороны рабочих. По шуму в зале Пинегин понимал, что все собрание поддерживает Гриценко. Тот непочтительно добавил: «Вот так. Понятно?» — и сел. Пинегин сурово продолжал, совладав с минутной растерянностью:

— Допускаю — еще не все выяснено с причинами катастрофы. Надо, стало быть, выяснять. Но разве это резон, чтобы сознательно и открыто запугивать рабочих?

Гриценко снова крикнул:

— А мы битые, нас не запугают, если сами не побоимся.

Озеров не выдержал, он повысил голос:

— В последний раз предупреждаю — хватит партизанщины. Кто желает высказаться, прошу на трибуну, а не орать с мест.

— Ладно, трибуной не стращай! — упрямо возразил Гриценко. Зал весело загрохотал. — Вот кончит начальник комбината — я начну.

— Кончай, Иван Лукьянович! — негромко посоветовал Волынский. — Дай народу высказаться.

Пинегин уступил, он возвратился на свое место. На трибуне появился Гриценко. Он начал с того, что грозно махнул в воздухе кулаком. Собрание ответило на это дружным смехом.

— Тут которые из начальников нас утешать собрались, что, мол, неопасно, — крикнул Гриценко в зал, — я этим товарищам прямо выскажусь — обойдемся без утешений! А кто очень настаивает на своем — милости просим, покажите примерчик: первые спускайтесь под землю. Там на вас поглядим, очень ли спокойные. Да что! — Он безнадежно махнул рукой. — По глупости, может, и не побоятся. А мы шахту во всех местах лучше собственной жены знаем, конечно, побаиваемся, где надо. Хватит ржать! — сурово крикнул он в хохочущее собрание. — Я дело говорю. Сколько спорили о взрыве, и все сейчас видим — непонятно. И верно, что сказал главный, по душе человек говорит, не притворяется. Ведь где взорвалось — в семнадцатом квершлаге, а там же все под этот самый случай оборудовано, чтоб не грохнуло, а оно полетело в тартарары. Самое непонятное дело — вот наше шахтерское мнение. Не было еще такого — и тут обратно главный прав. Теперь так. По шахте слушок пустили, что комиссии тут всякие виновников ищут и уже кое-кого за воротничок примеряются ухватить. Так я вам прямо скажу, товарищи, сперва найдите, отчего произошло, а потом виновников привлекайте. А то лучших работников заберете, чтобы отчетик свой сдать, бумажечки, а шахта с носом останется. Всё по этому наболевшему вопросу! И последнее, товарищи. Спускаться надо, тут спорить нечего — не могут больше без нашего угля. Значит, надо нажать на вентиляторщиков и газомерщиков, чтобы свежей струи везде хватало. И каждый за собой в три глаза гляди. Я, например, с моей лампой даю вам гарантию — от меня несчастья не будет, пока он, метан, только расти соберется, я уже ноги от того места умотаю!

Гриценко сменил на трибуне Ржавый. Он повел себя совсем по-иному, чем Гриценко, — дружелюбно улыбнулся в зал. Развеселившийся зал ответил на его улыбку так же, как на кулак Гриценко, — громким смехом.

— Тут, товарищи, собираются обсуждать, спускаться нам завтра или нет, — заговорил Ржавый. — Я, например, думаю, что обсуждать это дело долго не стоит — по всему выходит, что спускаться надо, без этого не обойтись. И мероприятия по безопасности все приняты, это мы сами хорошо видим. Что еще сказать, товарищи? Нужно заканчивать переоборудование шахты на безопасность до самого устья, сразу станет легче и на нижних горизонтах.

— Правильно! — опять крикнул с места Гриценко. — И об этом хотел крепенько с начальством потолковать, сбили вы меня с толку своим неорганизованным криком.

Озеров, хмурясь, снова потянулся карандашом к графину. Пинегин остановил его — он уже успокоился и внимательно прислушивался к выкрикам с мест. Пинегин сделал знак Ржавому на минуту остановиться и дал собранию справку:

— Завершение реконструкции мы ускоряем. Часть оборудования будет срочно заброшена самоле?ами — уже выделена сверх фондов, остальное завезем с началом речной навигации.

— Обстановка на шахте нездоровая, — продолжал Ржавый. — Волнуется народ, что многие уважаемые работники могут безвинно через этот взрыв пострадать, так надо бы здесь толковое разъяснение... Гриценко об этом уже говорил, я тоже присоединяюсь. И еще одно. Пусть комиссия не о том думает, кого обвинить в несчастье, а о его причинах. Мы, конечно, будем работать, это не сомневайтесь, ну, а знать, что случилось, надо.

— Будем знать, — пообещал Пинегин. Он обратился к сидевшему в первом ряду Арсеньеву: — Как ваше мнение, Владимир Арсеньевич, скоро ли мы распутаем эту загадку?

Арсеньев приподнялся и обратил лицо к залу.

— Я ищу, — сказал он сухо. И, помолчав, снова повторил это, видимо, любимое свое слово: — Ищу.

После выступления других рабочих и речи Симака Озеров предложил резолюцию — приступить с завтрашнего утра к работе. Зал дружно поднял руки. Озеров закрыл собрание, и народ повалил к двери. Пинегин с хмурым одобрением обратился к руководителям шахты, собравшимся около него:

— Кажется, мне одному тут досталось — всех оправдали, а меня обвинили. Ничего, я не сержусь, хорошо прошло собрание. И приятно, что за вас горою встали. Честное слово, не предполагал, что найдете такую защиту. Разговоры эти вздорные насчет привлечения кого-то к суду нужно, конечно, прекратить.

Озеров радостно кивал головой, Симак улыбался. Задумчивый, хмурый Мациевич не слушал Пинегина. Он стоял, опустив голову. Он все более понимал, что смотрит на окружающее теми же глазами, какими и раньше смотрел, но многое видит в нем по-иному. Окружающее было другим, чем представлялось ему.

8

Уже целую неделю шахта работала с неслыханной в ее истории производительностью, выдавая на поверхность почти в два раза больше продукции, чем в среднем выдавала до взрыва, а Арсеньев упрямо продолжал свои неудававшиеся поиски. Он трудился один — Воскресенский написал свой раздел заключения и отбыл с шахты, Симак был перегружен текущими делами. Арсеньев ежедневно спускался под землю, его худая высокая фигура появлялась в ярко освещенных откаточных и вентиляционных штольнях, в штреках, квершлагах и печах, он заглядывал в гезенки и узкие, как трубы, ходки, часами стоял около механизмов и кабельных линий. Свет его фонарика выхватывал то обледенелые, скованные вечным морозом стены, сложенные из диабаза, то пласты угля, то вагонетки и транспортеры, то взрывобезопасные телефоны с трехкилограммовыми трубками, то черные бронированные жилы, несущие в себе мощные потоки электроэнергии. Люди обнаруживали его за своей спиной, он подбирался к ним, неслышимый, как тень, и молчаливо изучал их работу. Его присутствие стесняло рабочих, даже шутки и перекликания замирали; пока он стоял, на него злобно озирались, недружелюбно озаряли его светом лампочек, ругались, когда он отходил, — он не обращал внимания на создаваемое им впечатление. Иногда он задавал короткий и точный вопрос, ему старались отвечать так же коротко и точно. И, как в начале его поисков, его теперешние длительные прогулки ничем не напоминали беспорядочного блуждания, в них была определенная и ясная цель. Он добывал ответ все на тот же вопрос — как в этом подземелье, сложенном из одних непроводящих пород, из одних изоляторов, могла пролететь электрическая искра, вызвавшая взрыв? И он знал уже, знал заранее, что о причине, породившей эту роковую искру, еще не писали в книгах, с ней не встречались рабочие, это будет открытие. Арсеньев внимательно слушал выступления шахтеров на собрании, он помнил разъяснения Семенюка и Гилина, его научили и собственные его неудачи. Именно в эту сторону направлялся сейчас Арсеньев — он искал не известное никому, новое явление, все, что было описано и ведомо другим, не годилось, он тут же это отбрасывал. Он непрерывно думал, круг его поисков сокращался, все второстепенное и побочное беспощадно отсекалось, строгая, сухая логика четко очерчивала единственно правильный путь исследования — в конце этого пути лежало решение загадки. Арсеньев без устали повторял одно и то же — взрыв произошел от искры, все другое исключается. Значит, где-то в этих непроводящих массах, в этих изоляторах таится проводник, «земля», прикосновение к которой и породило смертоносную искру. Он искал теперь только эту никому неведомую, загадочную «землю», она и должна была явиться открытием, принципиально новым явлением.

Одно еще мешало ему в его новых поисках, он начал с того, что детально исследовал эту помеху. Это была запись в дневнике Маши о том, что отпальщик «вдруг заторопился». Однажды Арсеньев уже анализировал эту заметку и отбросил ее как несущественную, — у него было тогда готовое понимание катастрофы. Но теперь, когда понимание это оказалось неправильным, Арсеньев снова возвратился к Машиной записи. Он повторял ее про себя, вдумывался в нее. Нет ли в самом деле тут искомой разгадки? Он, Арсеньев, утверждал, что рабочие не совершили никакой неосторожности, они действовали, как всегда, точно и правильно, — таков был исходный пункт его поисков, так он докладывал на партбюро. Но, может быть, он ошибся? Не привела ли торопливость отпальщика к неожиданному просчету, грубой ошибке в действиях? В чем выразилась она, эта торопливость? Многие рабочие ставили взрыв в связь с появлением Скворцовой на шахте, с ее хронометражем. Так ли уж неправильны эти мнения? Он должен во всем этом разобраться. Пока он не получит ясного ответа на эти вопросы, он не может продвинуться в другом — в поисках новых, никому не известных явлений.

Арсеньев появился в больнице. Главный врач принял его неприветливо. Арсеньев не стал упрашивать. Он рассказал врачу о том, чего хотел от Скворцовой, какое значение имеет для нее и для шахты ее ясный ответ. Через несколько минут он в сопровождении главного врача входил в палату, где лежала Маша. Маша, слабая, забинтованная, говорила еле слышным шепотом, с трудом вслушивалась в слова Арсеньева.

— Я знаю, вам тяжело, — начал Арсеньев. — Не отвечайте мне подробно, только «да» и «нет». Для нас бесконечно важно знать, не совершили ли отпальщик или мастер какой-нибудь ошибки, роковой неосторожности, — это ведь совсем по-иному обрисует картину взрыва. Скажите, в самый момент катастрофы мастер сидел, он не предпринимал никаких действий, так, правда?

— Да, — прошептала Маша.

— А напарник? — продолжал Арсеньев. — Нас интересует ваша запись: «вдруг заторопился». Что означает «вдруг» и в чем выразилась торопливость? Правильно ли я толкую, что «вдруг заторопился» означает только то, что он сперва сидел и болтал, а потом вскочил и стал работать?

— Да, так, — ответила Маша.

— И он не делал ничего лишнего, никаких ненужных движений? Вы меня понимаете, товарищ Скворцова? Он не совершил в своей торопливости никаких просчетов? Ничего, что выходило бы за пределы его обычных, повседневных действий?

— Нет, — прошептала Маша. Она с трудом добавила: — Он прилаживал провода.

— Так, так... Прилаживал провода... Это была как раз его обязанность — прилаживать провода, подготавливать схему включения машинки. Значит, повторяю, какой-либо неосторожности, чего-либо ненужного вы в его действиях не заметили?

— Нет, — повторила Маша.

— Кончайте, товарищ Арсеньев, — посоветовал врач. — Больная устала.

— Я сейчас кончаю. Еще один, последний вопрос. А сами вы, товарищ Скворцова? Говорили ли вы что-нибудь или молчали? Я повторяю, чтобы вам было легко ответить: вы молчали, смотрели и записывали, так?

— Я только записывала, — прошептала Маша. — Я смотрела... И вдруг взорвалось...

Арсеньев встал. Он с нежностью положил свою руку на бескровную руку Маши, погладил ее. Он не сумел сдержать своего волнения, совсем не сухо и не официально звучали его последние слова, обращенные к Маше. Даже на улице он не успокоился — что-то бормотал про себя, размахивая руками.

Вечером, дома, он подвел итоги. Итак, и этот пункт разъяснен. Все было так, как оно представилось с самого начала, — просчетов и неосторожности не было, шахтеры работали, как всегда, аккуратно. Этот легкий путь решения загадки — свалить на умерших вину за катастрофу — полностью отпадает. И слушки о причастности Скворцовой к несчастью тоже надо отмести. Остается единственный путь, тот, по которому он идет, нужно идти по нему до конца, не отвлекаясь ни на что другое, все, на что можно отвлечься, уже проверено, уже отброшено.

Арсеньев, неподвижно лежа на кровати, грезил с широко открытыми глазами, уставленными в потолок. Он видел удивительные картины, живые образы того, что он обнаруживал в шахтных ходах и выработках, о чем он беседовал с Гилиным. Это были пронизанные ископаемым льдом пласты вечной мерзлоты, безгранично раскинувшиеся вокруг их города, их сменяли волнуемые ветрами черные тундровые озера — дно озер выстилали талики, — потом все превращалось в подземные штольни с их сверкающим на крепи и породе инеем. На стене одной из штолен висел покореженный массивный пускатель, под ним на земле валялся человек, старик, с размозженным черепом, другой, юноша, почти мальчик, судорожно хватал руками воздух, кричал отчаянным безмолвным криком, звал в нестерпимом страдании помощь, которая не пришла. А затем эти страшные фигуры стирались и их место занимали новые люди, целые толпы людей, торопившихся на работу, в штреки, бремсберги и гезенки, — может быть, к подстерегавшей их грозной, непостигаемой смерти. Но чаще всего это была рудная жила, золотистая змея, струившаяся среди горных пород, словно поток света в черной ночи. Мысль Арсеньева непрерывно возвращалась сюда, к этой странной картине. Сперва это был только образ — цвет и линия, больше ничего. Потом цвет и линия стали словами, слова растянулись в предложения, предложения сложились в стройную теорию. Смятение охватывало сдержанного Арсеньева. Он знал уже, что подошел к самому порогу открытия, еще шаг — и открытие совершится. И когда оно произойдет, ослепительный свет зальет мрачную черноту катастрофы, все станет на свои места. И зловещая, неотвратимая опасность — сейчас перед ней они все бессильны — будет устранена с легкостью, как пустяк, два-три предостережения, два-три часа работы монтера и слесаря...

Арсеньев остался верен себе, он облекал в логически совершенные формулировки явившиеся ему мысли, менял и оттачивал эти формулировки, добивался их предельной точности. В один из дней он позвонил Мациевичу и попросил консультации. Это была его первая просьба о встрече. Они сидели один напротив другого, подтянутые и серьезные, внешне похожие и внутренне разные. Мациевич вежливо ожидал вопросов, Арсеньев не торопился их задавать — он все снова проверял их в уме.

— Дело вот в чем, — заговорил он наконец. — Я продолжаю считать, что основной причиной взрыва было отсутствие заземления на шахте. Против этого выдвинуты очень основательные возражения, и мне пока не удается их опровергнуть. Если бы я сумел доказать, что в шахте имеются проводники среди непроводящих пород, тайна перестала бы быть тайной. На рудниках, расположенных рядом с вашей шахтой, такие проводники имеются — рудные жилы. А что такое рудные жилы? Выплески и потоки глубинных веществ земли, прорвавшиеся наружу сквозь точно такие же мерзлые породы, как и на вашей шахте. Так вот, нет ли на шахте аналогичных рудных жил или чего-нибудь подобного? Я уточняю мой вопрос: можете ли вы указать мне застывшие потоки лавы, прорезавшие основную толщу породы на шахте? Возможно, некоторые из этих лавовых потоков окажутся проводящими.

Мациевич подробно ответил на все вопросы Арсеньева. Да, конечно, интрузии, то есть застывшие потоки, прорвавшиеся из недр земли, в их шахте имеются. Но это вовсе не те рудные интрузии, которые встречаются на рудниках. Природа их совершенно иная, интрузия на шахте — это жилы непроводящей породы. Примерно три миллиона лет назад, когда уже давно был завершен процесс образования каменных углей, в их крае развилась мощная вулканическая деятельность. В нескольких километрах отсюда из земных глубин прорвалась рудоносная магма, застывшая жилами и рудными телами. А в районе шахты сквозь пласты угля выливался расплавленный диабаз. Застывая, он образовывал широкие стены и перегородки, рассекающие угольные пласты. Эти выплески диабаза называют дайками. Таких диабазовых даек на шахте пять, самая мощная из них пересекает как раз семнадцатый квершлаг в том месте, где он выходит на угольный пласт. Одно он, Мациевич, может сказать, поскольку это интересует Арсеньева, — проводимость диабаза ничтожно мала, еще меньше, чем у мерзлых наносов и угля.

— Я очень благодарен вам за ясное и исчерпывающее объяснение, — проговорил Арсеньев, всматриваясь в вежливое и спокойное лицо Мациевича. — Но так как вопрос этот бесконечно важен и, надеюсь, в нем одном лежит решение всей проблемы, то я хотел бы сам взглянуть на диабазовую дайку в семнадцатом квершлаге.

— Если разрешите, я провожу вас туда, — предложил Мациевич.

Арсеньев уже не помнил, в который раз он спускался в этот квершлаг — узкий и тесный ход, прорезанный в толщах пород. На этот раз они не остановились ни у суфляра, продолжавшего выбрасывать рудничный газ, ни у места взрыва. Они пошли дальше, ко второму выходу из квершлага, где начинался угольный пласт. Крепь в этом месте не была установлена: твердые породы не нуждались в креплении. Арсеньев долго осматривал дайку, он передвигался вдоль нее по сантиметрам — он знал, что где-то здесь таится решение загадки. Мациевич помогал ему светом своего фонарика.

Диабазовая дайка представляла полосу шириною в шесть-семь метров, с одной стороны она рассекала смесь породы с углем, с другой — упиралась в чистый уголь. Яркая желтизна диабаза резко выделялась на черном фоне пласта. Линия разграничения породы и угля была так ровна и четка, словно ее проводили карандашом по бумаге. Сам диабаз в данную минуту мало интересовал Арсеньева — он ничем не отличался от других образцов этой породы и, очевидно, был таким же малопроводящим. Но перед углем он остановился. Он увидел то, что раньше проходило мимо его внимания. На расстоянии метра-двух от дайки уголь ослепительно вспыхивал в свете фонаря, его блестящие, словно лакированные грани, несмотря на покрывающий их легкий иней, зеркально отражали свет. Но по мере приближения к границе дайки уголь тускнел, становился матовым. У самой дайки он походил на плотную, лишенную блеска сажу.

— Почему так меняется цвет угля? — поинтересовался Арсеньев.

— Уголь на границе с дайкой сильно изменил свою структуру, — объяснил Мациевич. — Расплавленный диабаз прорывался сквозь угольные пласты под большим давлением и при высокой температуре. Естественно, что в местах контакта с диабазом уголь уплотнился и подгорел. Для промышленного использования этот метаморфозированный уголь малопригоден, мы обычно его не выбирали...

Он резко прервал свое объяснение. Арсеньев смеялся. Он хохотал беззвучным неудержимым хохотом.

— Не обращайте внимания, я своим мыслям! — поспешно сказал Арсеньев, заметив удивление Мациевича,

И, продолжая улыбаться, Арсеньев отколол две пробы угля — тусклого на границе диабазовой дайки и блестящего — в стороне от нее. Он хотел проделать контрольную пробу в лаборатории.

— Очень прошу вас, товарищ Мациевич, никуда не уходить надолго, — сказал он. — Думаю, что через часок мы опять спустимся сюда и уже в последний раз.

Арсеньев на обратном пути так торопился, что даже более молодой Мациевич отстал. В электроцехе Арсеньев кинулся к прибору, измеряющему электрическое сопротивление, и, глубоко вздохнув, провел рукой по волосам. Все наконец встало на свои естественные места. Чудеса кончились. Загадки больше не существовало.

Он соединился по телефону с Симаком, Озеровым и Мациевичем.

— Прошу вас немедленно спуститься в семнадцатый квершлаг, — сказал он каждому. — Я тут кое-что подготовлю, захвачу с собой Семенюка и явлюсь вслед за вами.

Когда он с Семенюком и дежурным электриком появился в квершлаге, его уже поджидало все шахтное начальство. Арсеньев попросил всех подойти к диабазовой дайке.

— Причина взрыва в том, что в атмосфере, насыщенной метаном, проскочила искра, — сообщил Арсеньев. — Это было самое первое наше предположение, и оно оказалось правильным. Сейчас я вам продемонстрирую эту искру. Но раньше прошу сообщить, не опасны ли такие демонстрации — метан ведь продолжает выделяться. Я вовсе не хочу немедленно унестись в тартарары, как называют это происшествие некоторые ваши рабочие.

Мациевич показал на захваченную с собой рудничную лампочку — она горела нормальным пламенем.

— Свежая струя уносит весь метан. Можете спокойно начинать свои опыты.

Все остальное происходило в глубоком молчании. Дежурный электрик вынул из ящика переносную электрическую лампу с двумя длинными проводами. Один из проводов он присоединил к клеммам отремонтированного магнитного пускателя и нажал включающую кнопку. Другой провод, находившийся сейчас под напряжением, он тыкал оголенным концом в уголь, диабазовую дайку, мерзлые наносные породы, сдавившие неширокий угольный пласт, валки транспортера — всюду, куда ему указывал Арсеньев. Электрическая цепь не замыкалась — не проскакивало обещанной искры, лампочка не загоралась.

— Вы видите своими глазами то, что знали и без меня, — сказал Арсеньев. — Уголь, изверженные горные породы и вечномерзлые наносы почти не проводят электрического тока, и электрическая цепь через них не замыкается. Именно на этом основании проектировщики и энергетики шахт отказались от защитного заземления, как технически неосуществимого и практически ненужного. И они были бы правы, если бы не существовало одного очень важного и пока никому не известного исключения. Сейчас я вам его продемонстрирую.

Он сделал знак, и электрик концом провода коснулся тусклого плотного угля на самой границе с дайкой. Все произошло одновременно — с сухим треском пролетела искра, ярко вспыхнула лампочка. Она горела ровно, в полный накал, словно цепь была замкнута не на горную массу, а через второй медный провод. Люди, окружившие Арсеньева, толкались, бурно требовали объяснений — все были поражены и взволнованы.

— Дело здесь в том, что уголь на границе с диабазовой дайкой имеет другую структуру, — объяснил Арсеньев. — Под действием высоких температур и мощных давлений, созданных потоком расплавленного диабаза, уголь в значительной степени графитизировался. А графит, как вам известно, хороший проводник. Слой графита невелик, несколько десятков сантиметров, редко где — метр, это узкая проводящая пластина, зажатая между непроводящими углем и диабазом. Но благодаря своему огромному протяжению в земле пластина эта хорошо рассеивает ток, ее сопротивление рассеиванию тока ничтожно мало — сотые доли ома. Теперь вы понимаете, как произошел взрыв? Вследствие какого-то повреждения кабеля на его броне появилось высокое напряжение, а провод от взрывомашинки пересекал дайку и графитизированный уголь и где-то касался оголенной частью этого проводящего угля. При случайном прикосновении провода к кабелю пролетела искра, которая и породила взрыв. Надо признать, что произошло очень редкое совпадение многих несчастных обстоятельств и только в силу этого стала возможна катастрофа.

В квершлаге, проложенном в вечномерзлых породах и продуваемом свежей струей, было очень холодно. Но Семенюк снял шапку и вытер вспотевший лоб. Лицо его было бледно, руки подергивались. Он сказал глухо:

— Выходит, вы были правы, Владимир Арсеньевич, мы виноваты в несчастье.

Арсеньев покачал головой.

— Нет, вы не виноваты. Вы не могли заранее бороться с опасностью, о существовании которой еще никто не знал.

И с торжественностью, соответствующей важности момента, Арсеньев закончил свое объяснение:

— Графитизированный уголь около даек до сих пор грозил таинственной гибелью каждому, кто спускался под землю, насыщенную метаном. А сейчас мы превратим его в самого верного и надежного нашего защитника. Он будет спасать людей от опасности, а не угрожать им. Вот вам та проводящая земля, которой вы не могли никак найти. Я предлагаю вбить на границах даек стальные трубы и заземлить на них всю электрическую аппаратуру. Высокое напряжение больше не появится там, где ему запрещено показываться.

В болезни Маши, наконец, наступил перелом, она шла к выздоровлению. К ней еще никого не пускали, но передавали записки и сообщали, кто приходит. Маша была удивлена и растрогана, чуть ли не вся шахта перебывала в приемной и добивалась свидания с ней, многих, например Полину, она почти вовсе не знала. Она перечитывала записки — нежные, заботливые, дружеские, складывала их в стопочку, прятала под подушку, чтоб всегда были под рукою. Две бумажки лежали отдельно, она часто возвращалась к ним, хоть и знала уже наизусть: «Машенька, выздоравливай, ждем тебя. Павел» — от Камушкина. И вторая — от Синева, крик его души: «Выздоравливайте, верьте мне, вы не все знаете. Алексей». Маша недоумевала, чего она не знает и почему Синев так мучается — она много размышляла над его строчками.

А потом к ней явилось нестерпимое желание увидеть друзей и знакомых. Она не знала, кого ей хочется больше, все, казалось, были одинаково дороги, со всеми хотелось поговорить. Она попросила врача разрешить свидания, он отказал. Сестра, молодая, быстрая и лукавая женщина, по-своему истолковала нетерпение Маши. Сестра была человек опытный и легко сообразила, почему в приемной палаты так часто появляются молодые люди, интересующиеся здоровьем Маши, но хмуро отворачивающиеся один от другого.

— Сегодня было трое, — докладывала она Маше после вечернего обхода. — Один лысый, но так собой ничего, очень представительный и веселый. А два другие — рослые, красивые, один другого лучше. Как троих таких в одно сердце вместить? Ну, ну, шучу, Машенька! А один из двоих красивых так огорчался, что не пустили, просто удивительно — сильно так любит!

На другой день она порадовала Машу:

— Сегодня врач разрешит первое посещение. Но только одного, больше пока нельзя. Так кого пригласить, если опять трое явятся?

И, поглядев смеющимися глазами на взволнованную покрасневшую Машу, она закончила:

— Ладно, без тебя разберусь. Сердце подскажет — самого любимого пущу. Обижаться не будешь. А тебе ничего не надо? Гребешок и зеркальце? Это мигом.

А еще через час она вбежала в палату и весело проговорила:

— Идет он, твой суженый, первый явился — такой настырный!

Маша, прибранная и расчесанная, приподнялась на подушках. Она побледнела от ожидания, не могла оторвать глаз от двери. Она не знала, кто пришел, это было неважно, пришел друг, один из ее друзей, они вместе порадуются, что она вынесла страшное испытание и осталась жива.

Но по разочарованию, вдруг охватившему ее, она поняла, что пришел не тот, кто был ей нужен.

В палату входил Синев.

Он издали ей улыбнулся, протянул руку, поцеловал ее исхудавшие пальцы. Маша показала на стул около кровати. Синев сел, жадно вглядывался в ее лицо, радость светилась в его глазах.

— Машенька, я так счастлив, что вам лучше, — сказал он нежно. — Не поверите, как все мы тревожились. Врачи такие строгости развели вокруг вас, словно вы умирали. А вы вон какая — еще лучше прежнего! Уже недалеко время — выпишетесь, снова будем вместе.

Маша показала рукой на шрамы у него на виске.

— Вы тоже побывали в беде, Алеша?

— Побывал, — сказал он неохотно. — Попал в завал. Разве Камушкин вам ничего не писал?

— Нет, ничего. А почему он должен был писать о вас, а не вы сами?

— Я думал, он напишет, — пробормотал Синев. — От него всего можно ожидать.

Он помолчал, потом, решившись, заговорил:

— Мы ведь с ним поссорились. И из-за вас, Маша.

— Из-за меня? — удивилась Маша.

— Из-за вас. Вообще получилась страшная путаница. Я ведь был около этого проклятого квершлага через несколько минут после взрыва. Но только откуда мне было знать, что вы там? Конечно, если бы я знал... Надеюсь, вы не сомневаетесь, Маша?

Маша с недоумением покачала головой. Синев пустился в подробный рассказ о том, как он подошел к квершлагу и возвратился назад. Маша поймала себя на том, что слушает его без особого интереса. Казалось, все должно было ее близко трогать, это была история о том, как она погибала, уже успела проститься с жизнью. Но слова его проносились, не волнуя, она словно знакомилась с чем-то, что имело к ней лишь далекое отношение — рассказ из книги о красочных переживаниях незнакомых героев. Она даже посочувствовала душевным терзаниям Синева, возмутилась, что о нем пустили такую грязную сплетню, будто он побоялся. Она говорила искренне, вежливо и равнодушно. А Синев отнес равнодушие к ее усталости. Он успокоился, просиял и стал прощаться.

— Меня предупредили, что долго с вами нельзя, — сказал он. — Ну, ничего, я еще приду. А в день вашей выписки достану билеты в театр. Отпразднуем ваше выздоровление вылазкой в культуру.

Она терпеливо качала головой.

— Хорошо, хорошо, Алеша. Я скажу вам, когда меня выпишут.

Он удалился, кланялся в дверях, махал рукой. А она, забыв о нем, задумалась над собой. Мысли ее были путанны и полны удивления. Она не понимала себя. Еще недавно, вчера, нет, сегодня утром она вспоминала этого человека с дружбой, лаской, почти привязанностью. Ничего этого больше не было — ни дружбы, ни привязанности. Он явился, и сразу стало ясно, что он чужд и безразличен ей. Что, собственно, случилось? Может быть, ее огорчает его недостойное поведение? Но ведь все естественно, он не знал, была ли она в квершлаге, был ли там кто-нибудь, кроме нее, — так он объясняет, она должна верить. Она верит, она во все верит, но только — не нужен он ей. И думать о нем больше не надо.

Сестра по лицу Маши мигом догадалась, что пригласила не того, кого следовало.

— Ладно, это поправимо, — сказала она быстро. — Там еще двое дожидаются. Приму этот грех на свою душу, если доктор станет ругаться. Теперь уже будет без оплошки, не сомневайся!

И как раньше чувство разочарования раскрыло самой Маше, что не Синева она ждала, так теперь бурно хлынувшая в лицо кровь подтвердила ей, что появился тот, кто был нужен. К ней осторожно и неуверенно приближался Камушкин. Он сказал, останавливаясь у кровати:

— Здравствуй, Маша!

— Здравствуйте, Павел, — ответила она. — Садитесь, пожалуйста.

Он садился так, словно стул был сделан из соломы и мог провалиться от неосторожного движения. Несколько времени он ничего не говорил, только глядел. Спохватившись, что нельзя так глупо молчать, он пробормотал:

— Свиделись, Маша.

— Свиделись, Павел! — отозвалась она, как эхо.

— Ну, как ты? Хорошо?

— Сейчас хорошо. Гораздо лучше.

— Ну, а это?.. Врачи... не обижают?

— Что вы! Ко мне очень хорошее отношение.

— Ну... А что говорят? Скоро выписываться?

— Недели через две, не раньше.

Похоже было, что он исчерпал все имеющиеся у него вопросы. Он замолчал, не отводя от нее глаз — Маша краснела под этим пристальным взглядом. Она попыталась пошутить:

— Что вы на меня так смотрите, Павел, словно не узнаете. Я очень изменилась, правда? И раньше красивой не была, сейчас совсем уродина.

Он с таким недоумением слушал ее, словно ожидал, чего угодно, только не такого странного вопроса.

— Да нет, нет! — сказал он поспешно. — Все в порядке, похудела, побледнела немножко — только. — Он справился с собой и улыбнулся: — Во всяком случае, лицо твое мне сейчас больше нравится, чем там на дороге, когда взялась меня прорабатывать.

Маша покраснела.

— Не вспоминайте, Павел, мне очень стыдно, что я так себя держала — бог знает чего наговорила.

— А ничего особенного, — возразил он великодушно. — Я много потом размышлял над твоими словами. В основном правильно — суть мою схватила точно, никуда не денусь.

— Не надо! — сказала она умоляюще. — Честное слово, не надо!

— Хорошо, не надо, — сказал он покорно.

Чтоб прервать установившееся снова молчание, Маша попросила:

— Расскажите, что у нас на шахте.

Камушкин оживился, описывая ликвидацию аварии, шахтерское собрание, речь Гриценко. Маша слушала, прикрыв глаза. Потом по щекам ее вдруг покатились слезы.

— Что с тобой, Маша? — с испугом спрашивал Камушкин, прервав свой рассказ. — Может, тебе трудно со мною? Так я уйду.

— Нет, нет, — сказала она поспешно. — Только не уходите!

— Да зачем ты плачешь? Болит что-нибудь?

— Нет, так, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. — Вспомнила, как мы ссорились. И как тогда... на дороге... И как вы спасли меня, собой жертвовали, а спасли. Боже, так страшно было, когда вас ударило вторым взрывом — просто не могу вспоминать. Чем мне вас отблагодарить за все?

— Вздор! — отмахнулся он. — Какие могут быть благодарности? Поступил, как всякий иной на моем месте. В конце концов, это я был виноват — привел тебя в этот проклятый квершлаг. Ругать меня надо, а не благодарить. Два человека погибли — никогда себе этого не прощу.

— Нет, нет, не говорите! — твердила она, волнуясь. — Другие не сумели бы так. Ведь я перед этим... обругала вас! Мне так теперь стыдно.

— Слушай, — сказал он серьезно и ласково. — Давай не вспоминать, что было. А единственная мне благодарность — не будем больше ссориться. Хорошо?

Он протянул ей руку, она схватила ее, прижалась к ней мокрой щекой. Камушкин гладил волосы Маши, что-то шептал ей, что-то доказывал — Маша, вдруг обессилев, слышала его голос, но не разбирала слов.